

The background of the cover is a painting of a dense forest. Dark, gnarled tree trunks and branches dominate the foreground and middle ground. In the lower-left quadrant, a small, pale figure stands in a clearing, looking towards the right. The background shows a hazy, green landscape under a pale sky. The overall style is somewhat somber and atmospheric.

Александр Кормашов

Дочь русалки

Александр Кормашов

**Дочь русалки.  
повести и рассказы**

«Издательские решения»

**Кормашов А.**

Дочь русалки. повести и рассказы / А. Кормашов —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-745866-9

В книгу вошли повести «Заросшие», «Маугли-фактор», «Тыя-онона», «Муза», «Морена», «Хождение по Сухой-реке», а также рассказы «Бессонница» и «Дочь русалки». Все произведения отличает предельно реалистичная манера изложения событий и всегда неожиданная развязка.

ISBN 978-5-44-745866-9

© Кормашов А.  
© Издательские решения

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Заросшие                          | 6  |
| Маугли-фактор                     | 52 |
| 1                                 | 52 |
| 2                                 | 56 |
| 3                                 | 59 |
| 4                                 | 61 |
| 5                                 | 63 |
| 6                                 | 66 |
| 7                                 | 72 |
| 8                                 | 75 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 77 |

# **Дочь русалки повести и рассказы**

**Александр Кормашов**

*Дизайнер обложки* Наталья Верба

© Александр Кормашов, 2017

© Наталья Верба, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4474-5866-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Заросшие (повесть)

Низкий, глухого турбинного рева звук возник откуда-то справа, пронесся над левым ухом и начал резать круги вокруг головы. Тело продернуло кислой гальванической судорогой. Звук оборвался сзади, на шее. «Раз-и... два-и...» – прошли положенные секунды, и шею будто проткнули шилом. «Три-и... четыре и...» – рука шлепнула чуть пониже затылка и загребла добычу. Здоровенный, размером с шершня, паут гремел внутри кулака.

Градька поднял вверх удочку и подхватил леску. Он стоял посреди неширокой, а здесь, на каменном перекате, еще и мелкой лесной речушки в высоких охотничьих сапогах, грубо и жестко трущих в промежности, отчего так хотелось внутри этих твердых резиновых рас-трубов встать на цыпочки.

Вода бурлила выше колен, ноги немели от родникового холода, но выше пояса тело Градьки лоснилось на солнце красной и потной кожей. От укусов паутов и слепней на ней оставались плотные белые желваки, будто под кожу загоняли монету.

Паут сердито крутил лобастую зеленою головой, нервно подхватывал под себя брюшко, раздраженно рокотал крыльями, но Градька уже нацепил его на крючок, плюнул, чтоб тот не носился по воздуху над поплавком, и мягко забросил снасть.

Что там могут настрелять мужики – неизвестно. Последних два дня они ели зайца, здоровенного русака-перестарка, с дуру вымахнувшего на вырубку прямо у них под носом. Кусок зайчатины и сейчас лежал у Градьки в кармане – можно было жевать, но откусить было невозможно – глотай куском, как собака. Как собаки и ели. И злы были как собаки. Больше всего, конечно, на тех, по чьей милости оставались в лесу. Без вина, без еды, без работы.

Хариус долбанул так резко, что Градька едва успел выбросить руку и смягчить удар рыбины. Тонкий сосновый кончик удилища затрещал, но выдержал и на этот раз. Хариус улетел на берег, в траву.

Градька переступил ногами. Мелкий, едва ощутимый озноб неожиданно проскочил по телу, в висках что-то затрепетало, тонко и перепончато. Тут же разряд какого-то электричества молнией пролетел по спинному мозгу и ударил под мозжечок. Голову затрясло, во рту стало кисло, в глазах темно – лишь мелькали и щелкали белые точки звезд. Градька хватался руками за воздух, но сумел зачерпнуть рукой воду и поэтому сохранил равновесие. Весь оглушенный внутренним взрывом, весь одеревенелый, продернутый насквозь единой – общего мозжечкового корня – судорогой, ветвисто доставшей до самых последних мельчайших мускулов, он так и стоял посреди бурлящего переката, в камнях, боясь шевельнуться и чувствуя только, как новым взрывчатым холодом наполняются ноги, и новая масса огня собирается на плечах.

И все равно он услышал сердитый крик, а потом и свистящий шум. Успел обернуться – отметить выводок молодых сеголетних уток, низко, над самой водой, несущихся ему в лоб откуда-то с верховьев реки.

Но утки, эти относились хотя бы к этому миру.

Черная надувная лодка, плеск весел, человек, сидящий к нему спиной, но сейчас обернувшийся, и другой человек, чье лицо нависало сбоку над просевшим резиновым бортом...

Этих он попросту не постиг. Он смотрел на людей, он видел мужчину и видел женщину, он видел, как шевелятся губы, но не слышал ни слова.

Мужчина отработал веслом назад, развернул лодку и направил ее под берег, под сухую ольху, к земляному приступку с примятой травой.

Наконец в Градьке тоже что-то спасительно разомкнулось, он смотал леску, выбросил удочку повыше в траву, затем сделал несколько длинных, в воде, шагов, оттолкнул чужую потустороннюю лодку, удивившись при этом реальности черной резины, и, ухватившись за хрупкий ольховый сук, вытащил непослушное тело на берег. Несколько секунд он просто дышал, затем стянул с дерева свой старый казенный лесхозовский китель с дубовыми листьями на петлицах, нашел рукава. Дрожь теперь ушла глубоко в тело и продолжала методично колотить изнутри. Голова наливалась сырой и горячей тяжестью.

– ... нет. Ну, что же это такое! Так вы можете говорить или нет? – будто издалека, будто из-за леса послышался женский голос.

В горле Градьки что-то хрипло отозвалось, однако и сам себя он расслышал не сразу:

– ... Я-то?

– Слава богу. Вы кто?

Градька долго возился с пуговицей на кителе. При ответе на этот вопрос он бы и при иных обстоятельствах надолго мог замолчать.

– Сами-то?.. – наконец, произнес он куда-то вбок.

– Мы просто плыли, а вы нам мешаете, – как-то очень уж громко, с обидой, произнесла женщина.

Градька пригляделся: еще молодая.

– Положим, Дина, он теперь уже не мешает, – поправил ее мужчина. На нем была старая туристская ветровка, старая туристская панама, он и весь вообще казался очень старым туристом. Сухие впавшие щеки клоками затягивались пегой щетиной, лоб морщился, нос бугрился, глаза убегали вглубь загорелого черепа. – А вы не подскажите, нам далеко еще до деревни? – лишь голос его звучал вечно молодо и красиво, как у певца с гитарой.

– Не. Нету, – Градька покачал головой и уже начал собирать в траве рыбу, как вдруг обернулся на странный звук: будто с шумом откуда-то вырвался воздух, но не из лодки.

– Ф-ф-ф... то есть?! – возмущенно ахнула девушка.

Градька снова покачал головой.

– Нету здесь никакой деревни. Лишь Селение, да в нем не живут.

– Но вот здесь же указано... – Мужчина разложил на колене карту. – Это Пáнчуга, мы вот здесь, это Лóпога, мы вот тут, и вот тут указано...

– Это Панчуга, – проговорил Градька и начал спускаться к лодке. – Это Панчуга, а Лопога не здесь.

Женщина сполоснула руку и провела ладонью по лбу. Совсем еще молодая. Девушка.

На старой военной карте, прозванной меж рыбаками-охотниками «генштабовской», Градька сразу нашел свою реку Панчугу, что спускалась отсюда на юг, загибалась к западу, а оттуда опять возвращалась на север. Весь район сидел на этом щучьем крючке, как лягушка с поджатыми задними лапами.

– Вот ваша Лопога, – прочертил Градька ногтем по карте. Исток Лопог и исток Пáнчуги находились рядом, недалеко от железной дороги, только Лопога сразу отворачивала на запад. – А вот Панчуга. Вы чего? Теперь вам плыть через весь район.

На лодке долго молчали. Потом мужчина вздохнул.

– Мы не думали... Понимаете, мы заходили по компасу. От железной дороги... Понимаете? – он опять уставился в карту, – А вот здесь... здесь отмечено «избы», это что?

– Так это и есть Селение, а я вам о чем?

Договорить ему не дали. Девушка вдруг вскочила, попыталась вскочить, но лишь сильно качнула лодку и закричала в голос:

– Пусть селение, пусть деревня! Я уже не могу, я устала! Максим!

– Погоди, Дина, – сказал мужчина.

– Я не могу больше «погоди»! Я устала, я хочу домой! Я хочу кефира, я хочу принять ванну. Я воняю, как эта чертова рыба! Ты посмотри на мои руки, не кожа, а чешуя!

– Пожалуй, мы сперва успокоимся, – строго взглянул на нее мужчина и действительно успокоил взглядом. Затем он вновь обратился к Градьке: – А вы сами откуда?

– Дак мы-то... Дак мы из Селения. Лесники мы, делянки тут нарезали. Делянки приехали нарезать. Да только из леспромхоза пока никого не дождемся. Дак в Селении и живем...

– Дак нам-то какая разница, селение или не селение! – вновь закричала девушка.

Градька не знал, как им объяснить. Любой в районе поймет, что Селение – это селение, и от века жили в нем «селяки», беглые рекруты, каторжане, раскольники, те никогда не «драли новину», не сводили вокруг леса. А деревня – это деревня. Кстати, «деревней» тут еще по старинке называют и пашню. Сейчас Селение – это цепь невысоких, заросших старой ольхой курганов, останков двенадцати подворий, что когда-то стояли по оба берега Панчуги. Под крышей осталась всего лишь одна изба, да и то потому, что в ней летом, бывало, жили геологи, а зимой останавливались охотники.

– Ну, так что же нам, блин, прикажете делать?! – девушка кричала теперь и на Градьку.

– Ну, дак это... – смутился тот. – Дак плывите.

– Но вы даже не знаете, мы столько уже плывем! Это же не река, это просто кишка с кишечной непроходимостью! Мы уже двадцать... мы двести раз эту лодку заклеивали! А бобры! Это просто изверги! Как только воды побольше, они тут же ставят плотину! – Она повернулась к мужчине. – Я честно устала, Максим Валерьянович, я просто и совершенно устала! Я хочу к людям! Блин, и еще впереди никакой деревни!

– Значит, Селение... – не слушал ее мужчина, берясь за весло. – И отсюда не далеко?

– Рядом, если пешком, – сказал Градька.

Лодка ушла в пережат, пронеслась над камнями и омутком пониже его и скрылась за ивняком.

Градька подтянул в себе удочку, обломил кончик, намотал леску, воткнул крючок, положил снасть в карман, подхватил рыбу и резко поднялся на ноги. И опять. Ни с чего. Голову стремительно обнесло, кругом помчались земля и небо, поршнем под подбородок ударила тошнота. Он медленно разогнулся, перестоял самое сильное нездоровье, сделал шаг и два. Проломился через багульник, вошел в лес и по сухому овражку пробрался до просеки. Ноги спотыкались о каждую кочку, внутри отсыревших сапог без конца чавкало, хрюкало, и ширкали отворотами голенища, точно точили нож.

Градька даже не чувствовал, что губы его беспрестанно шевелятся, что они всю дорогу проговаривают по пунктам разговор на реке. Какая-то часть сознания вела этот разговор автономно, разделив себя надвое, потом натрое, по ролям, но при этом отдельные реплики Градьки становились все лучше и лучше, красивее, умнее, литературнее, пока, наконец, вся встреча не была переиграна заново. И тогда уже – и только тогда! – он с каким-то наивным удивлением осознал, что, в общем-то, встречи не было. Не было ничего, ни лодки, ни мужчины, ни женщины, а только ледяная вода и горячее солнце, и разряд электричества между ними, и более ничего. Только бред и более ничего.

Главное для него сейчас, это просто дойти до Селения, а оттуда доехать на тракторе до лесничества, а оттуда на автобусе до лесхоза, там взять расчет, забрать трудовую книжку, затем на аэродром, и все. Да, да, все.

Нет, это бред, это тоже бред, потому что ему уже давно некуда и незачем возвращаться.

Не бредом оставалась работа. Простая, понятная, с понятными и простыми проблемами. Проблем было сразу несколько.

Первая – это чужие, не их района, лесозаготовители. От них никак не придет машина с Кругловым, начальником производственно-технического отдела, принимать нарезанные делянки. Будь этот Круглов из своего леспромхоза... Но свой в районе давно закрылся –

однажды вырубив все, до чего сумел дотянуться. Не сумел дотянуться только досюда: мешало болото, большое моховое болото, местами затянутое травой, сухолесьем, клюквенное, местами – совсем сырое, с озерцами и прорвами. С той стороны болота вековые боры были уже сведены напрочь, но по эту сторону – реликтовая сосна росла еще частоколом, острогом, крепостью. К ней, разумеется, подступали давно, но болото съедало все выбитые из крепости бревна. Оно не только взимало в дань в добрую половину хлыстов – на поддержание лежневок и гатей – но и делало невозможным сплав. А теперь этот бор, эта крепость получала неожиданный удар с тыла, от железной дороги, с морозами надо было ждать лесорубов, но пока лесники не могли дожидаться Круглова.

Пока хватало батарей рации, помлесничего-Гена связывался с чужим леспромхозом почти каждый день. «Да-да», отвечали ему, «Круглов уже выехал». «Нет-нет, выезжает». «Он выедет завтра, ждите». «Да-да, выехал, точно выехал. Утром». «Выехали еще вчера». «Как?! Все еще не приехал? Ну, приедут. Ждите». Батареи рации сели, а Круглова – как лешие разорвали.

Ожидая Круглова, они вторую неделю торчали в лесу без дела. Ко всем напастям и трактор, на котором они сюда добирались, оступился гусеницей с лежневки и теперь беспомощно оседал в болото...

Солнце подкараулило Градьку на выходе из просеки. Он зажмурился и нечаянно встряхнул головой. В ней будто вспыхнула электрическая дуга и тут же погасла. Когда он открыл, наконец, глаза, то увидел одну темноту. Потом в ней начали проступать контуры какого-то негатива. К счастью, картинка была узнаваемой. Вон очертания северной избы, большой, на высоком подклете, четыре пустоглазых окна по фасаду, а над ними, на коньке крыши, покренившийся охлупень. Вон слева за домом в кустах замечается то, что осталось от вертолета геологов, когда-то зацепившегося за дерево и упавшего на бок. Вон справа возле тропинки, идущей от крыльца до реки, видны три серых валуна с положенными на них широкими половыми плахами. Посередине костер. У костра люди. Помлесничего-Гена, тракторист Севолодко и Сано, второй лесник. И, слава Богу, Круглов.

Градька даже не смог обрадоваться, когда скорей догадался, чем рассмотрел поодаль трехосный «Зил».

«А гли-ко, вот и Градька с уловом!» Это тракторист Севолодко проступил негативным контуром над землей, протянув руку к кукану с рыбой. «Эко! Богато, паря, богато». Взамен он протянул кружку. «На-ко, прими штрафную. Ты чё, ёчи-мачи, пролил? Пролил, ёчи-мачи!»

– Не устал еще спать? Второй дён пластом, пора бы уже прочухаться. На-ко, на, опять тебе велено проглотить. Открывай рот-от!

Градька разлепил веки и увидел под носом какие-то капсулы.

– Бери, ёчи-мачи, ну-ко.

Сухими кожаными губами Градька взял одну, та прилипла к изнанке губы, и потребовалось немало труда, чтобы перекинуть ее через зубы. Вторую капсулу он положил на язык ловчее. Третьим был Севолодков палец, тут же подменивший себя краем холодной кружки. Вода с надсадой, рывками, толкала капсулы вниз.

– Ну-ко, давай фуфайку поправлю, да ты посиди, посиди. Ну, ладно, приляжь.

Градька снова прилег на нары. В зимовке было еще светло. Три низких, заросших травой по самые переплеты окна давали немного света. Красные вечерние лучи солнца проскакивали над лавкой, проныривали под столом, и где-то под нарами, в трухе елового лапника еще долго толклись, копошились, плясали, как мошकारа. Из-за этой подсветки снизу широкие, будто отодранные от шеи, нижние Севолодковы скулы казались совсем огромными.

Всеволод всегда походил на только выдернутого из воды ерша – пучеглазого и с растрепанными жабрами. Впрочем, ершом не образно, а по существу – нелюбимой рыбой, вредной, колючей и склизкой, он становился, только приняв на грудь. Дрянней и заносчивей старикашки тогда не видывал свет, мужики плевались и отходили. Но трезвый он был человек хороший, хотя тоже шершав порой на язык. Не шибко здоровый, он тихонько тянул до пенсии на своем старом тракторе.

– Вот похлебай, я тут смороды тебе натомил. На солнце томил, лучше печки. Экова сегогод сморода. Над рекой такое гроздьё висит, ёчи-мачи, винограду не надо. Да оно и понятно, сухмень какая все лето, в лесу все пожгло, но у воды-то смородке – милое дело.

Градька свесился с нар, отхаркался, сплюнул на пол.

– Встаю, Севолод. Встаю. С утра еще хотел встать, дак опять провалился...

– Ну, дак оно чего ж. Это ж дело худое, когда башку распекает, а ноги стынют. Да куда теперь-то вставать? Уж спи.

Градька снова откинулся на спину и закрыл глаза. Сон был рядом.

– Севолод, ты здесь?

– А?

– Круглов-то делянки принял? А мужики где? Трактор-то вытащили? Чего молчишь, Севолод?

Все это Градька говорил через паузы, давая Всеволоду ответить, но тот сначала долго молчал, потом расстегнул рукав, закатал, и дряблым, сухим стариковским локтем, по-женски, пощупал у Градьки лоб.

– Градислав, – растерянно проговорил он. – Ты это чего? Жар-от вроде ушел. Ты чего такое тут говоришь-то? Когда ведь это приехал Круглов-от! Не приехал он. По сюю пору все не приехал! И Сано с Геном не возвращались. Как ты на реку ушел, и они через час ушли. Сказали, пойдут в сто девятый квартал, смотреть Круглова, а то чего без дела сидеть. Да вот и не возвращаются второй дён. Я даже не знал, чего с вами делать. Не то за ними бежать, не то тебя обихаживать.

Севолодко спустил рукав до конца и начал ловить на латаной ветхой манжете мелкую прыгучую пуговку.

– Граня, у нас ведь еще беда. Туристов каких-то к нам принесло. Только нелюдские какие-то. В избу спать не пошли, спят в палатке, и чай на спирту готовят. Спирт это, говорят. А какой спирт, когда весь чистый сахар! Только не сладкий. Я в воде хотел его растворить, дак отняли. Не людские же, говорю. Туристы... А хайрузов-то они твоих сберегли, закоптили. Ужо сейчас принесу. Скусные. Сам-от он мужик ничего, живой, а девка какая-то совсем кислая. Мужик, он как тебя посмотрел, дак сразу пилюлю в тебя засунул. Не помнишь? Крыз в тебе, говорит. А что за крыз, не знаю. Ладно не крыса.

Градька облизал губы.

– На-ко, попей еще, – подхватился со своей смородою Всеволод. Но Градька лишь помотал головой. Попросил рассказать о туристах еще.

– А чего еще? Мужика-то Максимом звать, а отчество у него, я забыл, как в аптеке, язык сломает. Ходит все, это, по берегу, смотрит. И на ту сторону тоже перебродил, пройдет по дороге-то с километр, и назад, я гляжу, бежит. И опять ходит-смотрит, где избы ране стояли. Котора тут была церква, у меня спрашивал. А то я знаю, котора? Котора-то. Заросло все, не разберешь. А девка...

Всеволод внезапно замолк и прислушался, повернув голову к окну.

– Не слышишь, Градь? Никак Вермут брешет. Ужо-ко пойдю. Может, Гена с Саном пришли.

Он поставил на стол пол-литровую банку с томленной смородой, протер рукавом окно, пустив в помещение больше света, и вышел, прикрыв за собою дверь.

Пощербленная и облупленная глинобитная печь косилась на Градьку черным холодным устьем. Между печью и нарами громоздилась на кирпичах поставленная на попа железная бочка с дырявой дверцей, жестяная труба от нее уходила в печную вьюшку.

Больше в зимовке ничего не было. Нет. Был камень. На бочке всегда лежал здоровенный камень, кремнь, величиной и формой разительно напоминающий человеческий мозг. Порой его даже хотелось примерить – как головной убор. Внутриголовной.

Никто не знал, откуда был этот камень. Может, геологи оставили как курьез. А, может, кто-то нашел в избе. Может, он еще сто-двести лет уже служил по хозяйству и пригнетал в кадушке грибы?

Камень принадлежал избе. В нем было что-то от талисмана. В то время как прочие избы падали, разрушались, этот сруб-пятистенник, ничем от других не отличный, ничуть не крепче других, стоял как повенчанный с вечностью.

Как лесники, геологи и охотники ожидали увидеть здесь, на взгорке по-над рекой, одинокую среди леса избу, так в зимовке ее, на поставленной на-попá бочке-печке, их всегда ждал и этот бугристый, продернутый желтой и розовой стекловидностью холодный кварцево-халцедоновой мозг.

Почему-то сейчас, на мгновения просыпаясь, Градька сразу видел камень перед собой и от этого весь внутренне вздрагивал. Никогда еще собственный мозг не казался ему вот такой же застывшей, внутренне напряженной, кремневидной материей. Стукнуть обухом – разлетится миллионами искр.

Он проснулся еще раз совсем уже ночью, когда мужики, помлесничего-Гена, Сано и Севолодко, пришли от костра, зажгли лампу, заправленную соляжкой, и долго располагались на нарах. Потом потушили огонь. Окончательно он уснул под долгий, суливший мало приятного разговор.

На берегу стояла оранжевая палатка, рядом лежала лодка, перевернутая вверх дном, дряблая, сдутая. Вермут несколько раз подступался к палатке, но ему мешали растяжки, тогда он поднял заднюю ногу на лодку, обрызгал, потом вернулся и лег у костра. Ухо его ходило туда-сюда как локатор, откликаясь на каждый бульк висевшего над огнем ведра.

На плахах, положенных на три валуна, сидели все четверо лесников и Максим-турист. Лицо его было серое, пепельно-серое, даже несмотря на загар. Вероятно, тоже не спал всю ночь.

Градьку еще потряхивало, временами прошибало испариной, но едва занялся рассвет, непривычно желтый, безоблачный и безветренный, он тоже на босу ногу обул сапоги и выбрался вслед за мужиками. И уже насмотрелся на мужиков. Хотя первый шок еще не прошел. Ощущение бреда сменилось каким-то посасывающим чувством тревоги, еще не страха, но уже опасения за рассудок.

Ни помлесничего-Гена, ни Сано в жизни не носили бород. Понятное дело, в лесу не брились, бывало, что сильно зарастали щетиной, но чтобы отрастить бороду? А сейчас они были оба просто чудовищно бородачи. Словно отсутствовали не сутки, а год. Да и вся их одежда на них имела отчаянно заношенный вид: рукава обтерхались, кирзовые сапоги на ногах Сано стали почти что белыми и пошли глубоким трещинами по оголовкам. Гена сидел вообще без сапог – в самодельных бахилах, сделанных из рукавов старой куртки.

Сано и Гена всегда были очень разными по обличью, Сано крупный, в матерых годах мужик, Гена – совсем молодой, недавно из лесотехникума, но сейчас они оба походили не только на лесных братьев, но даже казались в чем-то братьями, и чуть не родными, лишь у Сано глаза были мутно-карие, выцветающие, у пом-же-лесничего-Гены – желто-коричневые, цвета молодой сосновой коры. Черные их волосы и такие же бороды представлялись оди-

наково неухоженными, волосы с верхней губы свисали до подбородка и мешали – от непривычки – и говорить, и есть. Не вытерпев, наконец, Сано взял нож и попробовал их обрезать.

– Погодите, Александр, погодите, не мучайтесь, я сейчас... Я их и вам, Геннадий, сейчас подстригу. У нас есть ножницы. Простите, Всеволод, вы не привстанете?

Градья только водил вокруг себя головой. Культурность Максима была дичее, чем даже эти, дикие по своей непонятности бороды. Максим, однако, перешагнул через плаху, дошел до палатки, раздернул полог и до половины пролез вовнутрь. Внутри раздались недовольные вздохи, приглушенное: «спи-спи», потом «ты не видела?», потом «где тут у тебя?», и наконец зад Максима подался обратно.

Вместо ножниц он принес хрупкие маникюрные ножницы. Тем не менее, волосы вокруг удалось немного подрезать, и мужики, хотя и не стали до конца узнаваемыми, различались теперь получше: зубы у Саны блеснули крупные, лошадиные, а у Гены, напротив, мелкие, острые, и к тому же заваленные вовнутрь, как у шуки.

Сано было попробовал постричь даже ногти, но при первом же сдавливании ножницы разлетелись на две половинки.

– Эх, ноженки, мать твою в коромысло, – расстроился он и посмотрел на Максима. – Вот топеря баба твоя расстроится. – Он попробовал было скрепить половинки, но Максим вежливо их отобрал. Ногти так и остались где-то обломанными, где-то обкусанными.

– Ведашь, нет? – продолжал Сано, повернувшись теперь уже к Градке. – Я как глянул на свои руки, так не сразу и понял, что это ногти висят. Страсть-то экая. Длинные, белые, загибаются. Мать Христоносица убереги! Правда, Ген?

– Ну. Да если бы на руках только, еще бы куда ни шло, – невесело откликнулся помлещничего. – Но на ногах ведь. А мы еще с ним бежали, как дураки. Ногти, они в сапогах отросли, загнулись и в мясо... Едва с ним потом разулись. Сано-то как-то сообразил, сразу ножиком вылушил. А со мною теперь...

Гена запрятал ноги под плаху и влажно моргнул глазами. Все отвернулись. Градка уже был наслышан, как вчера они шли весь день босиком, на пятках, оторвав от своих пиджаков рукава и надев их на ноги.

Все кроме Градки, на эти дела уже много наудивлялись, начертыхались прошедшей ночью, но он еще вяло соображал – переспрашивал и вновь переспрашивал.

Слово за слово, но в итоге мужики повторили свою историю заново, в два опять разволновавшихся голоса.

«Ёчи-мачи» так и выстреливали из Севолодки. Максим костяшкой большого пальца водил по гармошке лба. Даже Вермут, и тот беспокойно вилял хвостом, так как Сано время от времени охал и повторял:

– Если б не Верный, не вышли бы! Если б не Верный, не вышли бы!

Верный (Вермут промеж лесников) имел одним из родителей лайку: такая же сильная удлиненная шея, пушистый, колечком, хвост, однако, размером он был крупнее, поджарый, но уши стояли плохо, больше болтались тряпицами. Он плохо лаял на белку, не лучше ходил по следу, но он был молод, игрив, всеобщий любимец и вор.

Вермут занервничал еще в сто девятом квартале, за дальнею вырубкой, что лежала на новой лесовозной дороге, той самой, которая вела к тому лесопункту, от которого должен был ехать Круглов.

Вермут сначала стал отставать, потом, поджимая хвост и принюхиваясь, остановился, потом побежал назад, потом просто лег на дорогу и заскулил.

– Верный! Я твою!.. – прошелся по матери Вермута Сано, когда надоело свистеть.

В сердцах он пошел назад и уже дошел до собаки, когда увидел первую елочку. Ростом с четверть, всем видом – трехлетний росток-самосев, она росла прямо на колее, пробиваясь

из трещины на засохшей глине, что еще сохраняла весенний следы какого-то вездеходовского протектора. Не придавая тому значения, Сано поднял Вермута за ухо и, наподдавав под зад, послал по дороге вперед. Березка повыше встретилась метрах в пяти, а там еще одна елочка-самосев... Вермут вдруг заметался и, не взирая на ругань и мат, увернулся от очередного пинка и рванул назад.

Помлесничего-Гена тем временем уходил вперед, сам замечая какую-то необычность. Дорога старела. Ее стремительно покрывали еловая хвоя, сухой осиновый лист, колеи исчезали, на них пробивалась лесная трава, брусничник и низенький мох, похожий на зеленую плесень. Но лишь когда впереди возник плотный подлесок, сначала по пояс, потом высотой в рост человека, дальнейшее продвижение было прекращено. Дороги практически не было, вперед уходила уже не дорога, а будто широкая заросшая просека, и было прекрасно видно, что дальше она зарастала все гуще и выше.

Остановившись, помлесничего-Гена и Сано присели на корточки, с ружьями на коленях, их руки слегка подрагивали, лица влажно блестели.

«Что?»

«Что?»

«Что?» – лишь вскидывали они на друга другу небритые подбородки, не зная, как назвать то, чего никогда не может и не должно быть.

В лесу, по обе стороны от заросшей дороги, беспрестанно что-то шуршало, вздыхало и всхлипывало. Лес был живой и звучал. Но не птичьими голосами, не по-весеннему. И не по-осеннему тоже, когда сперва трубно, а потом с деревянным стуком рогов выясняют отношения лоси, и не по-зимнему – с волчьим воем на вырубках. Лес жил аритмией всех этих сезонных циклов, где, если и говорила жизнь, то все забивалось звуками умирания – скрипами, стонами, отпаданием веток и паденьем стволов. Отвесно, мелким бурным снежком, на подстилку сыпалась хвоя, опускались мертвые листья. С обеих сторон, на дорогу, из-под полога леса тянуло сырыми и теплыми удушливо-кислыми запахами, миазмами гнилости, прелости, разложения. И на гребне всех этих запахов летел совершенно непереносимый, пугающе сильный, терпкий дух жизни. словно какие-то катакомбные, напрочь забытые и потерянные цивилизацией люди в подземных своих жилищах используют трупы своих покойников в качестве грядок для самых опьяняющих злаков...

Вверху что-то зашуршало, запрыгало вниз по еловым лапам. Гена извернулся и с живота, дуплетом, ударил на звук. Толстая пересохшая растопыренная еловая шишка стукнулась рядом с его ногой. Секунду Гена косился на шишку, кривясь и жмурясь – будто на тысячерогую ядовитую каракатицу, готовую прыгнуть ему в лицо, потом ударил прикладом ружья, и еще раз, и снова, пока не размолотил ее в прах.

«Все-все-все, пшли-пшли-пшли отсюда», зачастил он прерывистым голосом, тяжело дыша и оглядываясь. «Чего? Смешно, да? Вставай-пошли! Дурнота это, слышь, дурнота! Слышь, пошли!» Не переставая оглядываться, сломил, взводя, «бескурковку», перезарядил и защелкнул ружье. «Чего лыбишься, чего лыбишься? Уходить надо, говорю».

Сано еще улыбался, когда вдруг в глазах его что-то мелькнуло и замерло, пристекленело. Улыбка сбегала вниз по лицу быстрее, чем отпускали ее лицевые мышцы, и вдруг разом пропала – на лязгнувшем, как затвор, кадыке.

«Кто-то будто кричал?...» – Сано стал медленно подниматься с корточек.

«Что? Кто?» – шепотом повторил Гена.

«Как будто кто, говорю, кричал...»

Оба прислушались. Было слышно, как в той стороне, откуда они пришли, безостановочно лает Вермут. То хрипло, осатанело, взалхлеб – как по зверю, то с нотками скулежа и визга.

«Не, вон там, впереди».

Сано кивнул на затянутую подлеском дорогу. «Криком кричали. Как человек какой. Ладно, пойду-ко гляну. Ты это... иди, что ли, к Верному. Господи-Иисусе-Христе-Пресвятая-Богородица-и-Святые-угодники-заступитесь, а не то сохраните деток!..» – единым махом перекрестился он, и, подняв ружье, как в воду, ступил в подлесок.

Помлесничего-Гена какое-то время медлил, переминаясь, потом с тоскою глянул в сторону Вермута, плюнул в сердцах и пошел следом.

С полсотни шагов они продирались сквозь плотную цепкую заросль, покуда ельник не вырос уже до плеч и по нему приходилось плыть, отгребая одной рукой от лица колючие лапы, другою удерживая над головой ружье. Но вскоре пришлось нырнуть и пробиваться низом, проламываясь вперед через жесткую и неломкую паутину нижних бурых, отсыхающих веток. Здесь они оба полностью потеряли взятое направление и на внезапный просвет впереди шли тараном, на четвереньках, как два кабана.

«Олухи мы», – не успев отдышаться, весь обливаясь ручьями пота, помлесничего-Гена начал вытряхивать из-за ворота хвою и лесную труху: «Надо ж нам было сразу идти прямо лесом, о бок дороги! Не додумались, дураки».

«Не додумались», – согласился Сано.

Идти меж больших деревьев было проще и безопасней, да и направление держать легче: нужно было просто держаться стены елового мелколесья, забившего всю дорогу. Ноги почти до колен проваливались в зеленую пену мха, тот сонно причмокивал и вздыхал, ласкаяще и зазывно. Упасть на него, прилечь, казалось, нет большего удовольствия. Но стоило неудачно ступить на удлиненную моховую кочку, упавший когда-то ствол, и тут же провалиться по пояс в сырую серую гниль, как всякие мысли об отдыхе пропадали, и верилось, что секунда-другая, и эта же моховая кочка вдруг над тобой сомкнется, всколывется плотоядно.

Удушливый, гниlostный, прелый, снотворный дух туманил, мутил сознание, застилал зрение. Они плохо различали друг друга и все больше определяясь по звуку. Все чаще они останавливались, все больше прислушивались. С протяжным уханьем и приглушенным треском в глубинах леса без умолку что-то падало, рушилось и стонало – стопами то ли смерти, то ли рождения...

«Почудилось тебе, Сано. Какой тут может быть человек? Больно матерый уж лес. Толстомер. Да откуда страсть-то такая?»

«Погоди-ко», – перебил его Сано, вытянувшись вперед: «А там-то вона чего? Куча какая-то, а не то курган?»

Стена мелколесья теперь уже тоже заматерела. Торчащие между елок березы засохли и торчали, как белые жерди. И только осины еще не давали себя задушить, еще пробиваясь к солнцу сквозь темную хвойную хмарь. Под нею, под этой еловой хмарью, куда совсем не проникал свет, громоздилось нечто объемное, немалых размеров, засыпанное лесною трухой...

«Мать честная, машина ведь!» охнул Сано, когда они пробрались поближе. «Его! Круглова! С лебедкой! Ну-ко ты, как соржавела-то, как соржавела!.. В землю-то как ушла, как ушла-то!..»

Машина более походила на гигантский развороченный муравейник среди частогокола засохшего умирающего подлеска. То, что было будкой в кузове, теперь прогнило и провалилось вовнутрь. Но кабина еще сохраняла форму, на крыше еще держались тяжелые напластования хвои, листьев и полусгнивших, покрытых белой плесенью веток, на дверцах бурым лишайным пятном мохнатилась ржавчина. Дверца со стороны пассажира была приоткрыта, молочно серело наполовину опущенное стекло, но мох уже пробрался в кабину и вплеся в ломкую рыжизну пружин, еще остававшихся от сидения. Капот над мотором был поднят, оттуда наружу юркнуло нечто мелко-зверьковое, бурундучье.

«Ёть-тё-тё!» – только и в силах был выдавить из себя Сано, а помлесничего-Гена и вовсе потерял речь, одолеваем какой-то мокротной хлюпающей икотой.

Им понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя, отереть пот. Сами того не чувствуя, они прижимались друг к другу, поводя вокруг стволами двустволок. Потом еще раз заглянули в кабину. Никого. Ничего. Ничего и от человека.

Наконец, они разомкнулись и начали с двух сторон обходить машину.

Гене сразу не повезло: огибая костистый, рыбий, скелет упавшего дерева, он наткнулся на молодой ельник и долго боролся с ним, а, протиснувшись, вышел к звериной тропе, и довольно протоптанной, на дне ее стояла черная жижа. Тропа как будто возвращала его обратно к машине, во всяком случае по касательной, и он охотно прошел по ней, казалось, всего-то несколько метров, как внезапно от дерева отделилось какое-то лохматое существо, беззвучно ощерив пасть и вытянув в его направлении когтистые лапы...

«Гы-х-гха-гхы... Ге-е!.. Ге-е-е!...»

Гена обмер, на секунду окаменел, но тут же подкинул стволы и стал судорожно хвататься пальцами за спусковой крючок, да только все время что-то мешало, что-то цеплялось за оградительную скобу, царапало по металлу, гнулось, ломалось...

Выстрела так и не получилось. К счастью.

Неизвестно, сколько минут они стояли друг против друга, так и не обретя способности говорить, но медленно признавая в себе людей.

Неизвестно, сколько раз они подносили к лицу свои руки с такими длинными, чуть не в палец длиной, ногтями, сколько раз зажимали глаза и тыльной стороной ладони пытались определить длину и густоты бороды. «Неужели она у меня такая же, как у него?»

Гулкий раскатистый треск совсем рядом, в комле перестоявшей свой век осины, затем протяжный, шумный вздох в вышине – заставили их бежать от рушащегося дерева. Чудом они выскочили к машине, а оттуда побежали назад, вдоль стены молодого ельника, все надеясь найти следы, совсем недавние собственные следы, и не находя их. Уже.

Лай Вермута вывел их на дорогу.

Солнце вскарабкалось – желтый бесстрастный круг, лишенный какого бы то ни было ореола. Круг испускал тепло не тепло, а какую-то мелкую дробную духоту, ощущаемую даже под кожей. Градька сидел рядом с Саном, на одной половой плахе, и чувствовал, что тот тоже дрожит изнутри, протягивая к живому огню сухие постаревшие руки.

– Я... – продолжал рассказывать Сано, – я еще раньше почувял, будто что щипет меня. В теле щипет, в ногах, особо в мысках. Думал, портянки того... Перемотаться хотел. Щипет и щипет, а потом оно, как в лес-то зашли, забылось. А ведь скажу, по-знакомому как-то щипало. Баба моя, еще о прошлую зиму, дура, печку купила эту в сельпо... что на волнах.

– СВЧ? – подсказал Максим.

– Как это?

– Микроволновую?

– Да, точно микро. Только не больно и микро. Большая. В беремя не возьмешь, и тяжелая тоже. «Электроника» называется. Как телевизор у свекра. Ну, обмыть мы ее решили с Вальком-киномехаником. Соседко-то мой, да вы его знаете, Валька... А баба моя свининки с морозу нам принесла. Запеку сейчас, говорит, вам на пробу. Тут Валько и зачесал башку-то: как это так – чтобы без тепла, а пеклось. Он ведь, зараза, дурной, только дай покопаться в чем. Кнопоньку возле дверцы увидел и, значит, сообразил. «А чего, говорит, ежели руку туда засунуть, а кнопоньку придержать?» «А чего?» говорю, «дак суй». А он говорит, «мне кино крутить, давай ты». Туда-сюда, короче, я сунул. На спор, понятное дело: кто менее выдержит, тот и за бутылкой бежит. Сунул. Сперва ничего и потом ничего, а потом как защи-пет – едрить-то ты мой! Думал, честная-мать-богородица, совсем без руки останусь!...

Он покосился на мужиков. Эту историю все давно знали, а Севолодко при ином случае не преминул бы съехидничать: «Сано, Сано: ето – срано, пито – ссано!», но сейчас он ограничился кратким:

– Рукусуй! Чем только детей-то делал!

– Мешай-помешивай, сам косорукий, опять пригоришь!

Каша уже недовольно ворчала и чворкала, и ее недовольство почему-то подхватывал Севолодко. Мешая кашу оструганной палкой, он ворчал на всех сразу:

– Я вас вместе с вашим Кругловым! Трактор-от как теперь доставать? Утонет совсем. Бежать надо за подмогой.

– Вот и сбегаешь, косорукий! За рычаги надо было держаться, Севко, а не за это место, – скривился Сано.

– Я те дам это место! Я те дам! – замахнулся кашеварскою палкой Севолодко.

– Севко! – заорал Гена и, зашипев, снял с носа горячий шмак каши. Попробовал: – Ничего. Упрела.

– Дошла, – согласился с ним Сано, отпробовав уже с бороды.

– Съедобно, – поддакнул Максим, подцепив крупичку с ветровки.

Каша была по большому счету его, Максимова, коль скоро именно он одолжил крупы, но кашеварствовал Всеволод, а тот уже полчаса объявлял кашу «недошедшей». И Сано, от нечего делать, вновь продолжал свою мысль:

– Я это к чему? Там, в лесу-то, оно уж больно похоже щипало. Изнутри, от самой кости. Похоже уж больно, я говорю, мужики, а то бы чего поминать глупости. – И повернулся к Максиму. – Вы, знамо дело, учений меня, должны понимать.

– СВЧ-излучение? Не похоже, – костяшками пальцев Максим потер пергаментное лицо.

– Похоже, я говорю, – обиделся Сано.

– Да, вероятно, вы правы. Конечно-конечно. Но только, чтобы накрыло такую большую площадь?.. Хотя, знаете, бывало. В Казахстане, под Джезказганом, случалось что-то подобное. Ошиблись в расчетах склонения излучателя над горизонтом и сожгли отару овец. Но здесь, очевидно, природа совсем другая...

Он посмотрел за реку, на дорогу, что уходила налево сразу от брода и скоро терялась в останках густо заросших ольшаником и крапивой изб. Прямо от них, на холм, поднималась прошлогодняя вырубка – будто неровно и наспех стриженный под машинку рукою пьяного старшины залохматившийся солдатский затылок, и где недоруб, островок обойденных пилой тонкомерных елок, торчал посредине как пук волос.

– Природа, – повторил Максим, – Природа явления, как вы понимаете, здесь другая. Судя по вам и вашим рассказам, это связано как-то со временем. И стоило бы подумать, как... Я бы рассуждал бы примерно в таком ключе: если будет доказано...

– Ёчи-мачи, чего тут доказывать? Уходить надо! Сам леший не знает, чего там с Кругловым да евонной машиной сталось. Как бы и с нами чего не сделалось! А то все ученые больно! Ученые! Открывают все! Наоткрывались!

– Помолчи, Севолодко, – заткнул его Сано, но тут же в ответ напоролся на: «молчи сам, пито – ссано!»

Максим поспешил вмешаться:

– Вы правы, Всеволод Иванович, ученые открывают. Иногда – рот. Когда ничего иного не получается. Но я, уверяю вас, сейчас открываю рот... в знак восхищения перед вашим кулинарным талантом. И перед этой... вашей палкой-мешалкой, если только дадите распробовать. М-м, вос-хи-тительно. Завтрак интуриста. Недосолено, уважаемый.

– Недосол на столе, пересол на спине, – засопел Севолодко, снимая с огня ведро, и его широкие нижние скулы растопырились еще шире.

Градья искал на нее поглядывал, но молчал. Пока не пересекли бор, не вошли на болото и не дошли до трактора, эта навязанная ему спутница сказала всего два слова: «Подождите», – когда развязался шнурок кроссовки и второе, «блин», когда тот оборвался. Она оживилась, только увидев трактор и рубленные из бревен сани, а на них дощатый шалаш.

– А нельзя это вытащить и поехать?

«Сама ты эта», подумал Градья.

Эта Дина еще с утра засмущала всех насмерть, с того момента, как вылезла из палатки. Хорошо, что не голая. В белых спортивных трусах и лифчике. Будь бы тот от купальника – куда ни шло. Но это был уж совсем откровенный лифчик, с перевернутой на плече атласной бретелькой и розово-кружевными чашечками, накрывавшими, но не прятавшими маленькие курносые грудки.

Дина несла полотенце, мыло, зубную пасту, щетка уже была засунута в рот. Артикуляции ее губ едва хватило на «доброе утро», а «приятного аппетита» вышло совсем зажеванным. В точно таком же домашнем виде она вернулась с реки, подошла к костру, безглаголиво понюхала оставленную ей кашу и показала жестом, что просит налить ей в кружку. Скорованность среди мужиков сковала и самого Максима, чайник вильнул у него в руке, крышка упала, чага внутри громко стукнула, и все равно Максим не сумел нацедить ей более трети кружки.

Градья, сидя напротив Дины с полной кружкой чаги, кажется, и не думал ей отливать, он просто хотел поставить кружку на землю.

– Вы пейте, пейте, – она задержала ложкой его движение, а затем ковырнула кашу у себя в миске. – Воды в реке много, а теперь еще больше. Валерьяныч, а, Валерьяныч, – обратилась она к Максиму. – Ты говорил, восточный антициклон и грозы не будет, а вода в реке поднялась. Значит, в верховьях дождь.

Градья пил и давился теплой, чуть сладковатой чагой, оглядываясь на миготавших с мест мужиков. Максим Валерьянович принес из палатки футболку и заставил Дину одеться. Потом сходил за водой и снова поставил на угли чайник.

– Дина, это не дождь, – отвернувшись от Дины и повернувшись к Градье. – Это не дождь, Градислав. Вода светлая.

Мужики от них убрались в тенечек, расположились на старых выдранных из вертолета креслах, возле крыльца избы. Курили и поджидали Градью.

– Во, ёчи-мачи, баба, а? – приветствовал его Севолодко. – Гену-то все худа. Худа, говорит, а по мне ничего, попка круглая, сиськи острые. Сразу видно, городской выделки, не под нашего комара.

– Уймись, Севолод, – вяло уговаривал его Сано. – У твоего комара жужжалка одна и осталась. Дело надо решать. Что делать-то будем.

– Дак вон Гено старший, пусть он и решает.

Помлесничего-Гена на деле был самым младшим, и по отсрочке не ходил еще в армию, но с первых дней утверждал себя как начальник.

– Так, мужики, – стукнул он кулаком по колену.

Помлесничего рассудил быстро, загибая пальцы с обломанными ногтями. Первое: рация в отказе, последнее подогревание батарей ничего не дало. Второе: Круглов с шофером пропал, живы ли – неизвестно. Если сразу же, как застряла машина, пошли назад, то сейчас они живы и бьют тревогу, ведь не может же эта дурнота с лесом длиться долго и далеко.

– Третье. Решаем...

Третьего дорешить им сразу не дали, к ним подбежал Максим, в руках транзистор с отвинченной задней крышкой. Транзистор только раздраженно шипел. Максим говорил

возбужденно. Что не ловит. Ни одной станции. А если и ловит – одно реликтовое излучение из космоса. При этом Максим поклялся, что приемник исправен. А вы сами ничего не заметили? Второй день на небе ни одного самолета! Все посмотрели на небо. Да-да, горячо продолжал Максим. Над нами как раз идет коридор на Дальний Восток. Отсюда и к побережью Ледовитого океана. Самолеты шли как по расписанию. Я думаю, что дело гораздо серьезней.

– Максим! – издалека, раздражено и громко крикнула Дина, не подходя к мужикам и не входя в тень дома. – Максим, сколько можно! Иди сюда!

– Третий! – совсем уже громко воскликнул Гена и силой стукнул себя по колену. – Третий и последний вопрос.

Этот вопрос был и самый трудный: уходить всем и сразу или кому-то идти до первых людей, до первого телефона.

Градья и сам давно понимал, что идти ему. Гену и Сану столь долгий путь не в подъем, на их-то больных ногах. Севолодко стар. Турист Максим не найдет дороги, а плыть по реке – это займет недели. Так что, идти за помощью ему, Градье. И выходить как можно скорее.

Он поднялся и пошел в избу за ружьем.

От пребывания все утро на воздухе в голове его посвежело, но ровно настолько, чтобы найти в полутьме проход до зимовки. В ногах пребывала все та же холодная заплесневелость. Он снял с гвоздя патронташ, на котором висел в чехле самодельный, сделанный из сверла нож, и опять наткнулся глазами на камень. Тот возлежал на бочке всё тем же исполненным в кремне мыслящим органом. Казалось, что думает. Думает, свои окаменевшие мысли.

Наматывая портянки, Градья потерял куда-то вторую. Он долго рылся в куче холодных и волглых тряпок, сдвинутых в угол нар, но все равно не мог отыскать. Не было и под нарами.

– Ну, чего, где портянка? – обратился он к камню, совсем ослабев. – Нету портянки. Худо. Не понимаю. – Он плавно покачал головой.

Голова уж опять кружилась, нагоняя вчерашний жар. Он охотно бы обменялся собственным мозгом (да и мыслями заодно – их было всего одна – о портянке) с этим холодным куском стекловидного минерала: то-то бы в голове стало ясно, остуженно... – и он весь даже покривился, представив, с какой костоломной тяжестью этой дикой мертвой породы камень надавит на его застонавшие шейные позвонки. Словно бы откликаясь на стон, заныла втиснутая в сапог нога. На ней оказались обе портянки.

Даже выйдя на солнце, Градья по-прежнему ощущал в мозгу заемный, сквозящий через сознание холодок. Холод и солнце теперь везде уживались вместе.

Мужиков у крыльца уже не было, вместо них его ждали Максим и Дина.

– Градислав, я прошу прощения, – Максим взял его за руку, – тут возник момент. Ну, короче, она вас просит. Нет, я тоже прошу. Вы уж как-нибудь проводите ее, Градислав, до ближайшего... я не знаю, автобуса, до деревни. Вы меня понимаете? Дина... Я хочу сказать... Дина...

– Блин, Максим! – та смело повернулась к Градье. – Слушай, ты же не против?

Вот так на его плечах оказался яркий чужой туристический рюкзак.

От трактора, еще глубже просевшего гусеницею в болото, отчего деревянные сани привстали дыбом и шалаш на них покосился, вдаль тянулась дорога – через болото, покрытое редким, выморочным, подрастающим и вновь засыхающим соснячком. Дальний край леса был спрятан за ним километрах в пяти-шести, и будь дорога прямой, опушку его, вероятно, можно было увидеть. Но бревна, поддерживающие путь, метались из стороны в сторону: от одного небольшого, чуть выпуклого и твердого островка земли – до другого. Бревна лежали то вдоль по дороге, образуя две поднятых колеи, и это была лежневка, то поперек – тогда это гать.

Холодная бледная линза неба и словно прожженная пучком лазера дыра слепящего солнца – не летнего, не зимнего, не осеннего – иного, лишь нагнетали вокруг тишину. Здесь, на открытом месте, ожидалось все-таки ветерка, но воздух стоял недвижно и пах...

Пахло смутно-знакомо. В прошлом году они добились здесь журавля, что до белой кости перетер себе ногу ржавой, невесть откуда взявшейся проволокой, и, так, любопытства ради, вскрыли его желудок. Сейчас болото примерно вот так и пахло – желудочно-горькой непеваренной клюквой.

Градька уже хорошо пропотел под чужим туристическим рюкзаком. Ружье без конца соскальзывало с плеча, и двустволку приходилось нести в руке. Дина волоклась сзади, перемещаясь с бровки на бровку, с бревна на бревно, кроссовки ее пропитались торфяной жижей, отяжелели, внутри чавкало, чмокало и пищало.

– Слушайте, как вас?... может, все-таки отдохнем? – несколько раз просила она и, казалось, сама не поверила, когда Градька остановился.

Он еще продолжал стоять, а она уже села на выбитое из гати сухое, прогретое солнцем бревно.

Но он продолжал стоять и внутренне еще весь качался. Все эти часы он плюхал вперед тем ровным, не сразу приобретенным, размашистым, качковатым шагом, при котором на каждом качке максимально используют тяжесть ноши для посылы тела вперед. Он мог бы идти так день и два, не сбивая взятого ритма, по бревнам, по кочкам, как по ровной дороге, но тут внезапно застыл, увидев вдали поверх гати и низкого сухостоя, близкий край леса.

– Градислав, да садитесь вы.

Он вздохнул, снял рюкзак, положил на него ружье и сел на бревно рядом с ней.

– Градислав, почему вы все время молчите?

Он молчал, потому что ему всегда в дороге молчалось. Молчалось и думалось. А сейчас, из-за последних событий, думалось и молчалось вдвойне.

– Это просто невежливо. Скажите хоть что-нибудь, расскажите.

Он молчал уже по инерции.

– Хамство, блин.

Он понимал, что молчать-то дальше нельзя, но молчал дальше.

– Твою мать, Градислав!

Градька совсем замолчал. Когда ругаются мужики, их мат пролетает мимо ушей. Когда ругаются молодые бабы – перед подругами или парнями – этим они демонстрируют, что замужние. Когда же ругалась она – уши его сворачивались, как горящая береста. Он проклинал Максима, который не захотел идти сам, (не захотев тащить на себе палатку и лодку), но зато натолкав чего-то тяжелого в рюкзак Дины.

Посидев полминуты, он хотел встать. Но она дернула его вниз, схватив на рукав:

– Нет, сядьте, сядьте! Я говорю, садитесь. Это невозможно. Ну! Расскажите что-нибудь о себе. Ну! Я вас не укушу. Ну, расскажите какую-нибудь историю. Из своей жизни, из какого-нибудь интересного прошлого...

– Нет, – Градька вновь попытался подняться.

– Ну, слава Богу, наконец, что-то членораздельное. Но ведь прошлое-то у вас есть? Почему-то вы не похожи на других лесников. Я ведь слышала, как вы у утром разговаривали с Максимом. Да вы не стесняйтесь. Один мой друг говорит, образование не экзема и с годами проходит.

Градька кивнул. Это он понимал. Его прошлое поэтому и прошло. Навсегда осталось в утробе того самолета, на котором он сюда прилетел. Возможно, и самолет давно уже спит, разделан и переплавлен, и пущен на бутылочные пробки. Может, поэтому, свернув водке очередной колпачок, Градька иногда обнаруживал под ним свое прошлое.

Видимо, он нечаянно на нее посмотрел слишком прямо, и она вдруг засуетилась, стала снимать кроссовки. Попросила подать ей рюкзак.

– Я хочу одеть сапоги. Зря я вас не послушалась...

Градька посмотрел на кроссовки. Пропитанные торфяной жижей, они теперь быстро просыхали на солнце и брали ее лодыжки в колодки.

– Да чего уж... – проговорил он, почувствовав в ее голосе извинение. – Идите уж так. Разомнете. Болото-то кончится, а дальше уж будет сухо.

– Вы думаете? – она мгновенно доверилась и не стала доставать сапоги.

До леса, до молодых сосен оставался еще километр, и все это время она говорила, не замолкая. Смотрела теперь на него открыто, полностью повернув и подняв вверх голову, да и он все чаще бросал на нее короткие взгляды, но как бы не на нее саму, а как бы изучая болото по ту, по её сторону. А шурился, будто глядя вдаль, а получалось, будто не верит ее словам.

– Да нет, блин, правда! – возмущалась она. – Валерьяныч таскает с собой здоровенную такую тетрадь, он ее называет «компостная куча». Утром порыбачит и записывает, отсидит вечернюю зорю, а ночью сидит у костра и опять чего-то записывает... Ой, а хотите, я расскажу про матрешку?

Градька машинально кивнул.

– У него дома стоит такая красивая большая матрешка. В ней матрешечек не сосчитать – мал мала меньше. На самой большой наклеен портрет Эйнштейна. А внутри – Ньютон, а в том... и так далее, до Аристотеля, кажется. Но Максима больше интересует Эйнштейн. Даже не он, а то, что во что Эйнштейн должен вложиться сам. Он говорит, что пространство вокруг Эйнштейна на глазах как бы деревенеет. На глазах возникает еще одна оболочка, внешняя, то есть, матрешка побольше. Вот этой самой последней матрешкой Максим и занят. Она, говорит, что еще грубая, не отшлифованная и не покрашенная. Вы знаете, раз я взяла его фотографию и на скотче подвесила над лицом Эйнштейна. Вас когда-нибудь убивали? Ой, а где же дорога?

Градька давно уже замедлял и замедлял шаг. Лежневка, наконец, дошла до опушки леса и легко растворилась в сосновом подлеске. Какие-то бревна лежневки еще угадывались под лесным пологом, но дальше – не виделось и намеков на какую-либо дорогу.

Лес наступал на болото совсем не стеной. Он вползал низом, наседал зеленой волной, и гребень этой хвойной волны застывал в полусотне метров от стоящих пред ним людей.

Они стояли пред этой волной, перед этим неожиданным океаном, совсем лилипутами – два человека, один повыше и толще, под рюкзаком и с ружьем в руке, другая, пониже и тоньше, с руками сжимающими виски.

Солнце перевалило через зенит, а они все толклись и толклись на кромке подлеска, продвигаясь то вправо, то забирая влево – по твердой сухой земле, что была когда-то болотом.

Наконец, Градька махнул рукой, и они окончательно выбрали направление – влево, и зашагали по самому краю хвойной зеленой пены. Часа через два они наконец вышли на плоский и низкий болотистый берег Панчуги.

Стая уток не особо и всполошилась, поленилась взлетать и, недовольно побрякивая, заработала под водою ярко-красными лапками, отплывая под другой берег и вниз по течению, в коридор между двумя колоннадами неизвестно как выросших там великанских сосен. Меж них непривычно широкой лентой проносилась большая, как после дождей, вода.

Пока Градька умывался, еще одна стая уток выплыла из-под берега и нагло проплыла мимо, не обращая никакого внимания на человека. «Ну, совсем же! Кыш!..» Градька схватил ружье и замахнулся на них как палкой. Утки нехотя испугались.

Умывшись, он как-то по-новому ощутил на лице щетину. Та уже не чесалась, стала длинней и мягче. Потом он осмотрел ногти, даже снял сапоги и осмотрел ногти на ногах. Затем обулся и начал ломать сушняк для костра, заодно пытаясь поговорить с Диной, которая неподвижно и молча сидела на рюкзаке.

– Да вы сходите, умойтесь, – говорил он. – Все голова-то будет меньше болеть. Тем более, что вода хорошая, чистая. Вот сейчас отдохнем, перекусим и спокойно пойдем обратно. Засветло успеем вернуться. Да вы на меня не злитесь. Я же не знал, что вам ничего не сказали. Просто больше дорог тут больше нет никаких. Не по воздуху же лететь... Да. А то бы неплохо. У нас зимой тоже была история: никак не можем выйти из леса и хоть ты умри. Вроде эта речка, а вроде не эта. А еще говорят, зимой леший спит. Пурга была, правда.

– Вышли? – спросила она куда-то себе в колени.

– А? Да. Вышли.

Наконец, она встала и, отворачивая лицо, спустилась к воде.

Он вытянул над ближайшей сосенкой руку и снова прислушался к своим ощущениям. Болела голова. Не сильно, но чувствовалось. Хотя не щипало. Тело не щипало. Или, может быть, слишком слабо, чтобы сразу можно почувствовать. Нет, если и что-то и чувствуется, то лишь оттого, что вытянутая рука стала уставать.

Первый страх, сродни первобытному, остекляющему, животному ужасу, уже подзабылся. Почти. Пока они продвигались к реке, Градька несколько раз заходил в подлесок, заходил и вновь выходил. Так ходят по мелководью вдоль берега, зная, что рядом, вот прямо за линией горизонта, лежит бездонная океанская впадина. Правда, никому не придет в голову представлять, вдруг эта бездна уже встала волной и начала двигаться на тебя и заглатывать берег и что надо бежать, но бежать некуда, потому что твоя земля – это остров...

Заходить без особой нужды вглубь подлеска Градька все равно не хотел, но нужда позвала, а когда уже выходил, застегивая ширинку, то увидел в траве белый гриб, а потом другой. Из двух десятков он отобрал лишь самые крепкие, затем отмахнул своим острым и тяжелым ножом несколько ивовых веточек и, содрав зубами кору, нанизал на них крепкие скрипучие шляпки.

Скоро поспели угли.

– Смотри! Белка-белка! – вдруг вскрикнула Дина, показывая поверх его головы закопченной веткой. Глаза ее оставались опухшими, красными, на одной щеке грязевой развод, рот перемазан горелым.

– Где? – обернулся он.

– Да вон-вон! – она взвизгнула, и Градька заметил, как вздрогнула хвоя сосенки.

– Бурундук, – присмотрелся он, потом засек направление и поднялся. – Сейчас.

Через минуту он перегнал зверька на подходящее деревце и, подставив ладони, резко пнул ногой в ствол. Есть! Но прежде чем он успел утихомирить полосатое тельце и поднять добычу за хвост, зверек парой стальных укусов прокомпостировал ему большой палец, оставив на ногте две темно-вишневых капельки, да и потом еще долго махал во все стороны лапками, скалился и вопил, и сверкал мазутными пузырьками глаз.

– Эй, вы где? Идите сюда!

Дина подбежала и завизжала.

Держа за желто-зеленый ершик хвоста, Градька хотел поднять зверька выше, но слегка зазевался, и бурундук зацепился коготком за рукав, пронесся вверх, на плечо, на голову, а там, запутавшись в волосах, пару раз крутнулся на месте и в длинном прыжке улетел прочь...

Пока Градька дул на прокушенный палец, а другой рукой озадаченно чесывал расцарапанное макушку, имея вид самый удрученный, Дина начала хохотать. Она хохотала и тогда, когда Градька сам уже отсмеялся, хохотала, когда он тряс ее за плечо, хохотала (совсем уже

истерично), когда он схватил ее за руку (она отбивалась) и подтащил к воде, когда прыскал и плескал ей в лицо водой и замочил всю.

Потом ее поразила икота, а он понял, что здорово испугался. Не сейчас, у воды, когда понял, что испугался. А тогда. Когда только увидел идущий лес. Потому что то был действительно страх. Страх перед лесом был новый, доселе неведомый, подкорочный, мозжечковый, до мозга кости. На уровне не человека отдельно, а всего вида. Страх сам по себе. Страх, на миг отделившийся от сознания и заживший самостоятельно, устрашая биологию человека извне. Его даже можно было коснуться, как можно коснуться Бога, и даже найти слова: ё-ё-ё!

Потом они сохли. Впрочем, было неясно, что лучше сушило одежду: солнце или костер – потому что Дина сидела, не раздеваясь, а потом вдруг встала и сразу пошла – вдоль подлеска, краем болотом, пошатываясь, будто слепая.

Градья поднялся не сразу. Он все еще продолжал напряженно думать, а думанье продолжало требовать неподвижности.

«Гена и Сано», – прикидывал он в уме, – «пробыли в лесу приблизительно час. Но это судя по их словам. Ногти у них за это время выросли на полпальца, сантиметра на три-четыре. Скажем, на три с половиной. Ногти обычно же подрастают на миллиметр за неделю – дней десять. Возьмем, десять. Одна десятая миллиметра в день. Тридцать пять миллиметров разделить... Год. Они как будто пробыли в лесу год! За один час – год! За это время сосна подрастает на...»

Вставая, он раздраженно вырвал из-под себя новый, очередной, долго мучавший, вылезший из земли росток и бросил его туда же, в костер, где белыми червяками истлевали другие сосенки-самосевки. Их хвоинки, их тонкие длинные лезвия, острые на конце, но с желобком, как для стока крови, трещали и шевелились, словно силились уползти...

Градья пометал головешки в подлесок, стараясь закинуть глубже. Распинал во все стороны угли, накинул китель, вскинул рюкзак, подхватил ружье и пошел догонять уходящую, как лунатик, Дину. Пару раз еще обернулся на широко раздымившееся кострище, потом пошел не оглядываясь: засветло надо было успеть вернуться к Селению.

Засветло оказалось не суждено.

Дина продолжала идти впереди, первой, словно не хотела и не должна видеть Градью. Временами она сжимала руками виски, но чаще руки просто болтались. Градья шел под рюкзаком следом и старался не обращать внимания на нудную головную боль – та сохранялась на уровне фона, белого шума, шума растущего и ползущего леса. Он обернулся только тогда, когда шум сменился треском и топотом. В первый миг думалось, что на них налетает некий мифический древний крылатый конь – до того широки и лопатисты были его рога.

Лось мчался на них зигзагом, по самому краю подлеска. Секунду он резал копытами густую хвойную пену, другую – чавкал болотом. Градья успел инстинктивно поднять ружье над собой, защищаясь, и, может быть, этот отчаянный жест или даже само ружье (как тоже рога?) в последний момент все же чем-то откликнулось в полоумных глазах сохатого, и тот слегка отвернул. Довернул на какой-то лишний градус к болоту, пролетел мимо. Только пахнуло горячим и кислым воздухом да сотрясло землю.

Нечто серое промелькнуло следом. Потом еще один волк. И еще.

Лося по инерции вынесло чуть дальше в болото, но там он словно споткнулся, увязнув сначала одной, а потом и вторую передней ногой в зыбучем, пропитанном влагой торфе, всхрипел и обрушился на колени, в мох. Первый, самый легкий на ногу волк подлетел и вцепился лосю в бедро, тот сумел отлягнуться, и серое тело нелепо и неестественно выгнулось в воздухе.

Волки полукольцом насели на бьющееся в трясине животное. Черная жижа фонтаном взлетала выше рогов, двух почти-крыл, двух больших лопастей с десятками длинных острых

отростков. Каким-то чудом, казалось, и только за счет удара о воздух своих невозможных крыльев, лось вырвал себя из ямы и в бешеном тысячерогом, стокопытном кружении стал наступать на волков, пробиваясь к сухому месту. А потом опять понесся в галоп.

Все повторилось через какой-то десяток прыжков. Нечто серое вновь мелькнуло наперез. И снова лось начал пятиться, отступать на болото, качая перед собою, по-над самой землей рогами. И вдруг неожиданно замер, присел. Градьке было видно, что лось просто-напросто сидит своим задом на клюквенной кочке. Отдыхает, отвесив к земле губу.

Припали к земле и волки. Лежали, дыша тяжело и быстро, высунув языки.

Градька впервые видел столько живых волков. И так близко – всего в полусотне метров. Зимой, на флажках, бывал праздник, если добывали хоть одного. А эти были совсем другие. Они не таились, не стлались, не прижимали уши, не сводили к переносью глаза. Они вообще пролетели мимо людей, не заметив их вовсе. Большая игрушка, лось, поглощал все внимание. Волков было больше дюжины, и половина явно из прибылых, этого года выводка, (только если бы знать, который сейчас в лесу год!) Было также несколько переярков и двое матерых. Те встали первыми.

Волчица была светлей, густошерстней. С голубоватой шелковой подпушью низом брюха, что прикрывала сосцы. Сам – бур. Будто палён огнем. С грязноватым подшерстком и остевым ремнем, длинным бесконечным вихром протянувшимся вдоль по всему хребту.

Лось тоже поднялся, отклеив свой зад от кочки. Он словно бы понимал, что сейчас эти двое волков-родителей захотят повторить урок, но не хотел быть учебным пособием и тоскливо водил головой. Градька вдруг показалось, что эта бедная животина вдруг увидела человека и теперь смотрит. Смотрит именно на него. Обреченным, несчастным взглядом, да еще как-то мелко-мелко поддериная губой...

Всё из-за этой губы.

Далеко не с первого выстрела Градька понял, что волки нашли другую игрушку.

Ненормальные, они задирали носы, принюхивались, словно впервые увидели эту двуногую, незнакомо пахнущую дичь и толком еще не знали, как к ней подступить. Будто никогда не имели навыков для охоты по человеку, либо навыки притупились, даже стерлись в их генофонде.

Вскоре Градька быстро отступал на болоту, пятясь и подталкивая ногой рюкзак. Дина волокла рюкзак волоком и за него же пыталась спрятаться.

На первые выстрелы волки еще приседали, оглядывались, и снова стелились по мху, потом лобасто приподнимались, отряхивали от воды лапы и снова подкрадывались, подползая все ближе и ближе, готовя прыжок. Градька не успевал выцеливать то одного, то другого. Дым слоисто висел над болотом. Рыжий и голубая не уходили, а вновь собирали стаю и вновь заводили волков по кругу.

Жалко было тех гильз, что не успевалось убрать в карман, и они, латунно сверкнув, навсегда исчезали во мху. Жалко было и рыжего мужа той, голубой. Пуля, скользнув меж ушей, срикошетила по хребту и красной глубокой рытвиной, надвое, распустила его остевой ремень. Жалко было и дробы, которой пришлось отгонять волчицу (последнюю из всей стаи), когда кончились пули.

Была уже ночь, а Градька все уходил по болоту, неся Дину на спине, на закорках, глубоко проседая на каждом шаге и все удивляясь, до чего же длинные у нее ноги. Натыкался на озерца – сворачивал. Натыкался на сухостой – ломал. Натыкался на кочки – переползал на коленях. Редкую кочку он не использовал для передышки, сваливал на нее свой вялый измученный груз, но, отдышавшись, снова подсовывал под него хребет. Рюкзак был давно уже брошен, на шее болталась только дустволка, и запах дымного пороха то долетал до его ноздрей, то вновь отлетал. Через каждые двадцать-тридцать шагов Градька выворачивал шею, краем правого глаза ловил на небе желтую дырку Полярной звезды и уточнял направ-

ление. Потом, полуразвернувшись, оглядывался – два зеленые огонька неотступно держались сзади. И так все болото, все глубже и глубже в болото.

Большая Медведица провернула свой ковш еще на пятнадцать градусов – когда под ногами неожиданно оказалась лежневка. Градька почти бегом добежал до застрявшего трактора, из последних сил закинул Дину в дощатый шалаш на стоящих дыбом санях, сам лег поперек входа и замкнул пальцы на грязном цевье ружья.

Он стремительно погрузился в сон, но при первом же сновидении вылетел из него, как пробка, и больше не мог уснуть до рассвета.

Они возвратились в Селение лишь во второй половине дня.

Максим увидел их с того берега Панчуги, подхватил Дину посреди брода, и сразу отнес в палатку. «Я сейчас-сейчас, без меня не рассказывайте», – потребовал он не столько от Градьки, сколько от мужиков.

Потом на листе лопуха Градьке дали жареную плотвичку с куском спрессованной каши, и он, разбирая рыбешку, в двух словах рассказал, что случилось.

Потом все смотрели, как Градька обрезал ножом ногти. Толстые, на ногах, отмахнул без труда, на руках оказалось сложнее, а прокушенный бурундуком палец вообще не давал к себе прикоснуться. Градька и не стал его трогать, лишь немного понянчил, хотя тут же смутился, заметив, как Гена, кривясь, оглаживает свои распухшие ступни ног. Помлесничего выглядел плохо. Глаза его, цвета нежной сосновой коры, текли гнойным соком.

Градька подставил Гену плечо и вместе они отковыляли в зимовку – немного поспать, пока не спадет жара.

На желтом закате их разбудили выстрелы, и вскоре торжественно был предложен ужин – дичь. Каждому досталось по тушке, пареной под ведром и набитой багульником, чтобы отбить запах тины. Этим роскошеством общество было обязано большой стае крякв, что безбоязненно опустила на воду почти напротив избы и была облаяна Вермутом.

– Больные, а ничего, есть можно, – говорил Севолодко, обглаживая тремя зубами утиное крылышко. (Это он побежал к реке первым и дуплетом выстрелил прямо в утиное скопище: несколько штук тут же опрокинулись гузками вверх).

– Да вы это... ешьте, ешьте, не бойтесь, – поворачивался он к Дине: – Психически, я о чем говорю, больные. А психика мясо не портит. Я то говорю, Максим?

Максим улыбался и кивал: «то». Всеволод лоснился от удовольствия.

После долгой и сытной трапезы положение не казалось уже таким беспросветным. Первым просветом был путь по реке, которая уж наверное выводила из леса к людям. Вторым просветом – квартальная просека, что от Селения уходила строго на запад. Путь был неблизкий и непростой: лесоустройства не проводилось лет двадцать, просеки заросли. Но этот путь был реален не меньше, чем путь по реке на юг. Никакой реальной дороги не было лишь на север, в силу известных причин, и на восток – оттуда к Селению примыкали непролазные топи на многие и многие версты.

Вечер пролетел быстро и с настроением, а ночь прошла тяжело.

Лампа сильно коптила, приходилось держать открытую дверь, внутрь несло мозглостью старого нежилого дома. Помлесничего-Гена часто постанывал и просил воды. Пальцы на ноге нарывало уже со-вчера, но сейчас отечная краснота перекинулась уже на ступню. Максим как пришел с своей походной аптечкой, так больше не уходил. Лекарства он положил на железную бочку, рядом с кремнем, и даже слегка того испугался: «Фу ты!..» Красное чадное пламя горящей солярки тускло играло в глубине камня.

Севолодко бухтел: «ёчи-мачи, да будет вам!» – и опять засыпал. Сано похрапывал в глубине нар. Максим и Градька шепотом переговаривались. Разговор крутился возле Геновых ног.

– День-два, а там... – Максим потер щетину. – Не знаю. Тревожно все это. Помощь нужна. Нас-то, положим, искать не будут, но вас по идее должны. Кто-то ведь должен. Кто-то ведь должен видеть всю эту метаморфозу с лесом? Согласны? Да и не только с лесом. С погодой тоже неладно. Вы давно смотрели на небо?

Градька кивнул: «Смотрел». Максим продолжал:

– Оно было не таким, когда мы стали сплавляться. Я ведь каждое лето хожу по рекам, когда на байдарке, когда вот так... Нет, пожалуй, я вынужден объясниться. *Noblesse oblige*, так сказать. Положение обязывает. Пойдемте на воздух.

Они пригасили пламя коптилки и вышли в темную душную ночь. Было тихо, птицы давно отпели, тишина стелилась туманом на многие километры. Если бы не звон комаров да не плеск рыбы в реке, можно было бы думать, что этот мир умер.

Максим и Градька расположились на вертолетных креслах возле крыльца.

– Я просто вынужден объясниться, – сразу заговорил Максим. – Думаю, вы уже не думаете, что я такой неопытный человек. Шел в одну реку, а попал в другую? Честно сказать, кроме Дины я никого обманывать не хотел, но даже и для нее мой обман не более чем сюрприз. Она еще удивлялась, зачем я так много беру продуктов? Ну, да ладно. Моя фамилия Селяков. Вот такой интересный факт. Я вырос в детдоме. Фамилия и отчество – по отцу. Но это и все, что о нем известно. Я, конечно, наводил справки, нашел несколько Селяковых и даже двух Валерианов, но ничего внятного. А в позапрошлом году отдыхал я на Белом озере и вдруг натыкаюсь на вашу газету, в ней статья некоего Селякова. Выясняю, и что оказалось?.. Селяков – это псевдоним, а фамилия его Щепкин, он редактор вашей районной газеты. Ваш местный писатель, вы его наверняка знаете. Знаете?

– Вроде нет, – с сомнением сказал Градька.

– Да? А поговору вроде местный.

– Это благоприобретенное.

– Благоприобретенное? Интересно. Ну, хорошо, коль скоро я первым начал рассказывать о себе, то продолжу. Но должен оговориться. Я считаю, что прошлое, настоящее прошлое – это самая скучная и неинтересная в мире штука. Оно – как черный ящик самолета, который еще не разбился. И если мы все же интересуемся прошлым, значит чувствуем какую-то катастрофу.

Градька внимательно посмотрел на Максима. Тот, впрочем, уже увлекся:

– Тогда я Щепкину написал, он отозвался, и мало того – прислал свой рассказ, «бывальщину», как он определил этот жанр. Рассказ вот об этом Селении беглых рекрутов, где мы сейчас находимся. Я попытаюсь сначала пересказать. Итак, сначала было две легенды. Первая утверждала, что в середине прошлого века некий охотник с низовьев реки заплутал на болоте. Но вышел на остров, забрался на дерево, и вдруг вдалеке заметил дымок. Другая легенда гласила, что как-то раз, в половодье, рыбак из деревни, стоящей внизу по течению реки Панчуги, увидел поплывшие по воде щепки, в то время как всеми единогласно принималось на веру, что верховья реки совершенная глухомань.

Не одно поколение детишек слушало сказки о том, как однажды в лесу, за болотом, лешие строили себе церковь, поскольку время от времени по деревням безо всяких следов исчезали не только коровы, овцы и девки, но однажды пропал даже поп, правда, потом через несколько лет вернувшийся, и, молва утверждает, опознанный всеми, кроме своих домашних. Причиной такой попрекаемой до сих пор в народе забывчивости была челобитная попадьи местному архиерею, и тот разрешил попадье приискать себе другого мужа – для прокормления оставленного семейства. Таковой отыскан скоро, ну, а этот, вдруг объявивший себя вживе поп прямым ходом направился в Петербург, откуда (по истечении столь долгого срока, что в бозе почил не только сама попадья, но и оба священника), пришло высочайшее повеление расследовать данное дело незамедлительно.

Волостные власти в ближайшую же весну, по большой воде, направили вверх по реке экспедицию, и та, едва не загинув в болотах, действительно, обнаружили небольшое лесное селение, а между изб – стояла шатровая, по всему виду раскольникья церковь, которую сразу же велено было перестроить под купольную, а отшельных людей записать в податную книгу.

На непрошеное вторжение селяки ответили новым расколом: одни подались в еще более глухие места, но другие, оставшиеся, стали открыто, сперва только лишь по весне, наведываться в низовые деревни, сплавляясь вниз на плетеных из бересты лодках, груженных выше бортов копнами беличьих шкурок.

Тороватые понизовские мужики тотчас узрели в своих чудно объявивших себя соседях немалую выгоду для себя, и дело порой доходило аж до курьезов. Так, в одну из первых «беличьих» вёсен местный мужик по прозвищу Пурыш, спеша обогнать остальных перекупщиков, за ночь сломал избу, оставив семью под открытым небом, дабы быстрее других соорудить плот и спуститься на нем – через несколько рек – в Северную Двину, а по ней – к Архангельску. Позднее, разбогатев настолько, что мог содержать при лондонских пушных аукционах собственного подрядчика, а при входе в болото на берегу Панчуги соорудив факторию, он, к своему несчастью, прознал вдруг о ценах в Европе на российскую клюкву. Ни до, ни после болото не видело столько людей, сколько пришло на него в ту осень. Ни до, ни после не пропадало в болоте столько людей. Не меньшее их количество позамерзло и на обратном, по зимней реке, пути к своим деревням. Пурыш, несколько раз едва не поднятый на рогадины, сколько мог – откупался деньгами, но когда все четыре, спешно сооруженных амбара были доверху засыпаны клюквой, понял, что разорен. Всю зиму метался он за кредитами, а весной фактория загорелась. Кивали при этом на селяков, вооруженных Пурышем английскими ружьями – для присмотра за клюквой, но якобы сговорившихся с понизовскими мужиками против общего кровососа. Забродивший сок потек из амбаров в Панчугу, (раньше, до Революции, Пянчугу), так внезапно оказавшуюся созвучной этому факту.

А селяки с той поры еще больше примкнули к цивилизации. Боевое братство с местным крестьянством, скрепленное клюквенным соком, распахнуло пред ними двери во многие избы. Однако селяки поспешили. Первых невест они взяли в двух первых, самых ближних к ним деревнях. Эти девицы и положили начало второму лесному расколу. Откуда бесхитростным селякам было знать, что у одной из невест в ее родовом предании упоминался «охотник с дымком», а другая хранила память о «рыбаке со щепками»? Через какое-то время с началом японской войны селякам поголовно присваивались фамилии, вдруг оказалось, что одни новобранцы предпочли называться Дымковыми, другие – Щепкиными.

– Вы понимаете? – это сказал уже сам Максим.

– Да чего уж, – ответил Градька. – Когда Дымковы да Щепкины тут живут через одного. Сам знаю некоторых. И есть тут место, ниже болота, его и сейчас называют Факторией. И церковь шатровая тут была, стояла на том берегу, да все теперь заросло.

– Вот видите, бывальщина-бывальщиной, а на деле прямая бль, – оживился Максим. – Я и раньше искал свои корни. А с годами, не постыжусь признаться, это стало своего рода манией, и вот тут... И вот так еще получилось, что в ту же буквально осень у меня появилась эта студентка... Дина Дымкова. Вы понимаете?

– Да чего уж...

– Я был у них дома, разговаривал с ее матерью. Отец был военный, пропал вез вести, но родом откуда-то с ваших мест. И не просто откуда-то, как вы уже понимаете...

– Уж чего.

– Я хотел ей сделать сюрприз. А потом доплыть до райцентра и встретиться с вашим писателем Щепкиным... Только знаете, – он вдруг улыбнулся какой-то странной тусклой улыбкой. – А она-то не знает. И знать не хочет.

Он опять улыбнулся. Затем с минуту сидел, неподвижно, как каменный, ничего не выражая лицом, и вдруг весь напрягся, некрасиво заиграл ртом, на лице появилось нервическое, болезненное, жестокое выражение:

– А вот взял бы ее за шкурку, как, не знаю, котенка, и мордой бы, мордой!.. Знай, откуда ты есть! Знай, откуда ты есть! Знай!

Градья вышел в путь на рассвете, непривычном и желтоватом, в час, когда мужики вставали, а Максим, зевая, полез в палатку.

Ружье, немного еды, запасные портянки – ничего большего в этом пути на запад не требовалось, да Градья и не рассчитывал идти дальше суток. Но – как после он прикинул по квартальным столбам, и на запад ему удалось пройти не далее, чем на юг.

Всею виной было то, что просеки сильно заросли и Градья не раз поддавался удобству звериных троп, вилявших то к водопоям, то на болотца, в которых сохатые принимали в жару грязевые ванны. Правда, потом он возвращался назад и вновь искал на стволах затесы, старые, скрытые под коростой сухой смолы, но – единственно верные знаки, обозначающие собственно просеку. Так вот и продирался вперед от затеса к затесу, с трудом находя их в замшелом сером исподнем старушечьи-старых елей, когда неожиданно понял, что следующий затес решительно не находит. И тут же почувствовал в левой руке резкую дергающую боль. Прокушенный бурундуком палец толстел на глазах, набухал тяжестью, багровел. Длинный нестриженный ноготь выползал из него белым иссохшим жалом. «Что это?!» – охнул Градья, облившись ледяным потом, и начал беспомощно оглядываться вокруг.

Лес был уже другой.

Градья начал медленно отступать, потом побежал, сначала, как казалось, назад, затем испугался, остановился, поглядел на солнце и напролом рванулся в другую сторону, но и тут лес был тот – шевелящийся. В панике он завертелся на месте, не услышал – почувствовал покачнувшийся рядом еловый ствол, бросился поперек падению, запнулся, упал, заломил обо что-то ноготь больного пальца, и боль отключила сознание.

Когда он очнулся, придавленный жесткой, наполовину утратившей хвою лапой, то первая мысль была «сколько?» Эта мысль не была даже мыслью мозга. Она была мыслью тела: сколько? Сколько он пролежал? Бурая еловая лапа словно схватила сердце и нажимала, сильнее, сильнее, останавливая биение. Он попробовал встать на карачки, но тут же ткнулся головой в землю: руки словно не было.

Боком он выбрался из-под ели, чувствуя, как волочится по земле что-то грузное. Сел. Плечо тянуло к земле. Он нашел завернувшуюся за спину руку, мокрую, всю в испарине, затащил ее на колени, вывернул вверх ладонью. Нащупал на поясе нож, осторожно ткнул. Ничего, кроме легкой отдачи в колено он не почувствовал.

Рука была белая. На ладони была глубокая ранка, раскрытая и сухая, бескровная – из-за отсутствия кровообращения. Палец был тот же, но с уже отодранным ногтем, который сполз вбок, выпуская из-под себя жирную бугристую кишку желто-зеленого гноя. Градья отодрал ноготь полностью, затем довыдавил гной и встал. Рука свешивалась с плеча и качалась, будто пудовый маятник. Не дожидаясь, когда рука оживет, он быстро осмотрелся вокруг и, ничего тревожного не заметив, убрал в ножны нож, отыскал ружье, засек по солнцу курс на восток и пошел на выход из леса.

Он не смог дать себе отчета, когда и как именно пересек границу между «новым» и «старым» лесом, и понял, что вышел, лишь только оказавшись на вырубке, не старой,

не молодой, заросшей высоким, в рост человека, ржаным костёром, отчего казалось, что впереди распахнулась хлебная нива.

Градья еще постоял, подышал воздухом, понаблюдал кружащихся в небе орлов, невиданных здесь от века, но теперь уже мало им удивлялся.

Выйдя на лесовозную дорогу к Селению, он наткнулся на косача с тетерками и тоже не удивился тому, что они будто куры порхают в дорожном песке. Подкравшись, он подбил одну камнем, догнал, свернул шею и завернул голову под крыло. Пройдя еще с километр, он решил спуститься к реке и пройтись по берегу.

Там царило недоумение: бобры не успевали наращивать раздираемые водой плотины – еще не сумели преодолеть свой тысячелетний трудовой инстинкт.

В каменной горловине, на перекате, в том месте, где прежде стояли хариусы, река шумела и рокотала. Градья прошел под обрывом, пиная камни, потом нагнулся, подобрал кремешек, увидел другой, и присел в тени берега, щелкая камешки друг о друга.

Он долго и бесцельно сидел, ни о чем ровным счетом не думая, просто щелкал и щелкал камень о камень и смотрел на искру. Щелк, щелк. Снова щелк, щелк. Икры заворачивали. Их хотелось еще и еще. Наконец, дощелкался: один из кремешков раскололся, и тонкий длинный осколок, чем-то похожий на кремневый наконечник стрелы, разбередил на ладони ранку. Это вывело Градью из ступора. Он побросал камни в воду, однако осколок кремня зачем-то сунул в карман и по просеке вернулся в Селение.

С вечера лодку проверили, нашли дырку, заклеили, потом надули и оставили до утра. Еще затемно опять подкачали, снесли на воду и положили в нее помлесничего-Гену. Тот был плох. Зубы в его пересохшем рту будто еще сильнее завалились назад, глаза тоже впали и текли сукровицей. Обе ступни у него распухли и посинели аж до лодыжек.

Сано чувствовал себя лучше и до лодки добрался сам.

Им передали рюкзак с едой и ружье. Сано оставил себе патронов, сколько мог взять в одну руку, остальные вернул: «если что, то вам пригодятся боле!» Ружья Гены он не взял (когда-то новенькое, после пребывания в лесу оно покрылось по стволу ржавчиной, а лак на цевье и ложе совсем потускнел и местами потрескался).

С рассветом Сано оттолкнулся от берега, кивнул «бывайте с богом», и лодка с двумя бородатыми стариками, едва помещавшимися меж круглых черных бортов, ушла по течению. Вермут залаял и побежал за ними по берегу.

– Будь у меня самого, ёчи-мачи, столько детишек, я бы тоже часу не ждал, – проговорил Севолодко и первым пошел к избе. – Ну, чего? – оглянулся он на Максима и Градью. – Пошли, что ли, дале ломать?

Все пошли ломать внутреннюю стену хлева, ядреную и сухую.

Какие-то бревна они сумели выворотить еще вчера, как только Градья вернулся с последней неутешительной вестью и когда Сано резко заволновался – плыть!

«Наутре с самого ранья! Покуда у меня самого... покуда еще хожу, а не то будет, что с Геном. Чего, не сколотите какой-либо плот? А не то нас тут и схороните. Вон за рекою церква стояла, все-таки погост, святая земля, вот там и заройте!» – со слезой в голосе говорил Сано. И, как начал переживать, поминать жену как уже вдову и детей как уже сирот, так и не успокоился, пока Максим не обещал ему завтра же отдать лодку. Остальные должны были плыть на плотках.

Плотов было решено рубить два, каждый на двух человек.

Проводив мужиков, Градья, Всеволод и Максим рубили по очереди окаменевшие, мертво захрясшие в пазах бревна. Один рубил, другой подменял, Севолодко наждачным бруском поправлял свободный топор.

– Будь мой трактор, – иногда мечтал он, – зацепил бы тросом да разом и своротил. А то выколуپывай тут. По бревнышку-то...

Градъка продолжал махать топором, отмахиваясь от слов, как от мух. После обеда надо будет вязать плоты, и надо еще догадаться – чем? Гвоздей как кованых, прямоугольных в сечении, вытасненных из стен избы, так и круглых, фабричных, оставшихся от геологов, было штучно, да Градъка и не верил железу: там оно быстро перержавеет. Откатывая к реке бревно, он ощупывал капроновые растяжки палатки, отчего Максим как-то внутренне зажимался, но не отказывал.

Максим часто разворачивал карту, внимательно ее изучал и в который уж раз поднимал вверх и ронял вниз брови. Иногда он подзывал Севолодку, который с охотой узнавал на карте ближайшие к Селенью деревни, но особенно удивлялся десяткам других, которые еще значились на старой «генштабовской» карте. Севолодка только и восклицал: «вот здесь у меня жила баушка с дедушкой, а вот здесь крестная, а-а... дак это ведь наша...» – и пытался рассказывать о каждой деревне. При этом он начинал шмыгать носом и пальцем тереть глаза.

К сумеркам хлев лишился десятка бревен, а палатка – растяжек, но плоты были собраны. Ночевали все вчетвером в зимовке. Севолодка с Градъкой на нарах, а Максим с Диной в спальных мешках, на разостланной на полу палатке. За весь день меж них не было сказано и десятка слов.

Максим все ворочался и ворочался. Не прошло часа, как он стал выбираться из своего мешка и, опершись рукою на лавку, поднялся в рост. Градъка тоже уселся на нарах. В темноте погремел спичками. Максим на фоне окна кивнул головой.

Спички тратить им не пришлось, зола еще берегла угольки, и костер разгорелся сам. Белый дым от костра поднимался неколебимо вверх, и ежели колебался, то, чудилось, лишь откликаясь на человеческое дыхание. Шумела вода, под берегом шлепала по воде какая-то ветка, за избой ухнул сыч.

– Попробуй еще раз вспомнить. Когда ты упал на палец и потерял сознание, лес был другой или нет? – спросил Максим, возвращаясь к их общей заботе.

– Не помню.

– А сколько могло пройти времени?

– Ну... – Градъка хотел быть точным. – Если считать по времени пальца... Не знаю. Рука же, говорю, затекла...

– По времени пальца... А потом вы очнулись, спокойно вышли из леса и при этом много не постарели, так?

– Так. Я уже думал об этом. Может, вся штука в том, что это не я вошел в лес, а лес напoлз на меня? То есть, не я во время вошел, а оно само как бы...

– Время... – потер щетину Максим, – змея, глотающая свой хвост. Если нас будут глотать с той же скоростью, скоро мы попадаем в свое прошлое, в далекое прошлое. Лес поглотит нас всех, и нам снова придется начинать все сначала. Вырубать, выжигать, корчевать, распахивать... Караул, короче. На юге наступают пустыни, а здесь... Но сравнение, боюсь, некорректное.

– Да. Лес не песок. Лес можно вырубить, – рассудил Градъка. – Хотя зачем рубить? Тут половина деревень уже заросла. Идешь по тайге, вдруг осинник, вдруг березняк, значит поле. На некоторых еще загонки видны. Видно, как раньше пахали, сохами еще, будто половицы... И следы деревни найдешь... А теперь лес. Да и сам район обезлюдел. Населения сократилось в три раза...

– А откуда вы знаете? – Максим сощурил глаза.

– Читал. В районной газете. Пишет тут один краевед. Мне запомнилось. Когда ходишь по лесу, такое запоминается. Будто ходишь по прошлому. А сейчас даже думаю, будто в самом-то деле ходил по будущему...

– Да, – сказал Максим. – Да. Не обязательно попадать в свое прошлое, разворачивая время назад. Достаточно лишь поддаться его ускоренному потоку...

– Никто же не ускоряет, – тихо проговорил Градька.

– Никто. Не мы. Может, даже ничто. Но я здесь не специалист. Я не специалист по времени в широком его понимании. Скорее, специалист по его скорости и направлению.

– Направлению? – Градька не понял.

– Да. Если время идет вперед, значит, оно идет лишь в одном направлении, это аксиома. В какую бы сторону мы ни двинулись, мы идем вперед. Разве это не очевидно? Вот вы пошли направо, но это не значит, что вы идете направо, вы пошли вперед. «Право», «лево», «назад» – это лишь ментальные слепки различных, усвоенных нами с детства «вперед». Я разработал теорию и сейчас пишу монографию. Дописываю. Да! Ведь в чем дело!..

Максим воодушевился, перешел с полупшепота на полуголос и начал делать жесты руками.

– Верх, низ, право, лево – это все химеры сознания. Условности, по которым мы ориентируемся, выйдя из утробы матери, то есть, из некой особой пространственно-временной одномерности. Но это сложно понять. Гораздо проще встать на Северном полюсе, в его математической точке, и не найти ни запада, ни востока, а всюду один лишь юг. Любой шаг вперед – шаг на юг. Но, не сделав этого шага, ты никогда не обретишь сторон света. Впрочем, находиться в лесу, по большому счету, все равно что стоять на Северном полюсе. Во все стороны один лес. Опять одномерность, однонаправленность. И чтобы ее преодолеть, нужно все же родиться, сделать шаг, либо выйти из леса. Выйти из леса, да.

Максим осмотрел темноту, сгустившуюся вокруг костра, поежился и подбросил в костер сушину.

– Вся моя теория, Градислав, – тихо продолжал он, – лежит в микромире. Который, как я сейчас понимаю, очень напоминает лес. Считается, что в микромире существует много частиц. Имя им легион. Нет!

Он вдруг резко рассек рукой ночной воздух.

– Нет! Нет, утверждаю я. Микромир одномерен, и в нем существует всего лишь одна частица. Имя ей направлеон. Все частицы рождаются из нее. Точнее, не рождаются из. Постигаются через. Дело в том, что при переходе направлеона из своей одномерности в нашу единственно постижимую четырехмерную кажимость направлеон принимается тысячи разных облиций. И все потому, что мы видим их приходящими со всех направлений. Электроны, нейтроны, протоны, глюоны, преоны, кварки это суть «левоны», «правоны», «передоны», «позадоны», «верхоны», «низоны», «полунизоны», четвертьверхоправоны» и так далее – несть им числа. Но все они суть один-единственный направлеон, запеленгованный при движении разными курсами, с разной скоростью. Пусть это примитивно, но вы понимаете?

Градька кивнул головою как-то очень уж неуверенно, наискосок.

– Эйнштейн, – продолжал Максим, – в сущности, открыл то, что давно открыл античный театр. Любое действие на сцене – это ни что иное как трехмерная статика, протянутая через динамику четвертого измерения, иными словами, пространство через время, положение через сюжет. А больше в театре нет ничего. Но большего нет и в Эйнштейне. Он лишь добавил в картину пространства ось времени, как Леонардо да Винчи добавил в живопись перспективу. Но представьте себе театр. Актеры двигаются, ведут диалоги, бросают реплики. Вам интересна скорость, с которой они это делают? Если только почувствуете, что чего-то не можете уловить. Тогда вам кажется, что, либо вы тугодум, либо режиссер задал слишком высокий темп, и скорость вашего восприятия на пределе. А если актеры станут играть еще быстрее? Допустим, я ставлю видеофильм и нажимаю кнопку ускоренной перемотки. Мельканье актеров, суматошные взвизги вместо привычных слов. Вы меня просите поставить прежнюю скорость. Вы утратили нить восприятия. Остались вне актерской

игры. Но вот концентрируетесь и на миг успеваете уследить: кто-то выхватил пистолет, чик – и сам лежит мертвым. И опять одна беготня. Четырехмерность жизни схлопнулась в одномерность движения. Все остальное – химеры рыдающего сознания. Запомните, Градислав, предел скорости восприятия полной картины, художественного кино, либо целого мира, это и есть порог одномерности. Ибо лишь стоит еще немного ускорить прокрутку, и все, больше нет и движения, одно мелькающее пятно. Собственно, порог одномерности, это и есть порог реального микромира.

Пока Максим говорил, Градья разогрел чайник и разлил по кружкам чагу. Максим отхлебнул. Потом поставил кружку на землю и усмехнулся.

– Смешно. Думал ли я, что тезисы своей Нобелевской речи озвучу в лесу. Правда, в каком лесу!..

– Да уж, – поддержал его Градья. – Лес ваш. Этот. Одно... однохимерный. Точно. Не разбери чего.

– Отчего же, не разбери? Можно и разобрать. Хотя бы попробовать. Главное, не мыслить стандартно. Отстранитесь на миг от вашего собственного сознания. Выведите его вовне и вложите в любой предмет. Я, к примеру, нередко думаю книгами, а один раз даже думал настольной лампой. Вспомните ваши ощущения на Северном полюсе, но представьте на этот раз, что вы – это лес. Лес на Северном полюсе. Вы растете. Растете во все стороны одновременно, но все время на юг, все время в одном единственном направлении. И не в силах сделать хотя бы шаг, шаг вперед, назад, вбок, но лишь бы соступить с полюса, лишь бы определить свои стороны света, найти свое пространство, вырваться из этой чертовой одномерности. Чертовой, это, я извиняюсь, выразился как человек. И одномерность меня пугает как человека. Для которого никто не нажмет кнопку ускоренной перемотки и не облегчит задачу по восприятию...

Максим неожиданно замолчал, взял кружку, но пить не стал, уставился в аспидно-черную жидкость.

– Восприятию... Дак чего? – Градья подтолкнул его мысль.

– Чего? Да всего. Всего с нами происходящего. Нет. Не хочу, – Максим нервно искривился. – Не хочу даже думать, почему лес. Почему он растет так быстро. Почему мы в таком окружении...

– Почему? – спросил Градья.

– Знаете, Градислав, потому, что самый простой ответ, потому что человек оккупант и захватчик. Все, что не хочет ему подчиниться, он презрительно именует дикой природой... хорошо что не варварской. А все, что мешает – паразитами и сорняками. Но человек, он покуда берет над природой верх только потому, что берет быстрее природы. Но что, если сорняки на полях начнут вдруг расти быстрее пшеницы? Впрочем, они и растут быстрее, только их успевают глушить. Нет, а еще быстрее? Во много раз быстрее! А лес? Как можно спасти поля, если они с той же скоростью будут зарастать лесом? Может, они зарастают уже сейчас. Хотя почему лишь поля? Города зарастают! Поначалу люди, конечно, будут бороться, расчищать дворы, прорубать улицы, а потом...

– А потом?

– А потом станут жить в лесу. Человек, когда-то вышедший из леса, как из утробы матери, но поднявший руку на мать, получает таким образом воздаяние. Может быть, он даже заплачет: «Ах, мамочка роди меня обратно!» Но мамочка, похоже, не слышит. И даже не видит. Он не ее. Он чужой. Четырехмерный. Эйнштейнианец. Такого она не рожала. Мы не понимаем друг друга. Мы из разных пространств. Я говорю не сложно?

Градья задумчиво описал головой косую петлю и хотел было что-то спросить, но Максим не дал:

– У животных, как мыслится, проблем с пониманием-непониманием нет. Они всегда в одной фазе с лесом. Лес может расти сколь угодно быстро, животные этого не заметят...

– Но почему все-таки растет?

– Это сложный вопрос. Я могу найти на него сто ответов и все будут верные. Но я не был бы человеком, создавшим теорию направлеона, если бы не назвал самую первую и самую простую причину. Лес спасает себя от вырубки, от полного уничтожения, и единственный спасение для него – это расти быстрее, чем рос всегда. Слишком просто?

– Просто просто.

– Значит правильно. Направлеон – это тоже просто.

Уже рассветало, усталость брала своё, оба стали позевывать.

– А если человек спит, он в сознании? – задумался о своем Градька.

– В сознании ли? Вероятно. А что? А, понимаю, – догадался Максим. – Да-да. Да. Это может быть выход. Когда вы лежали в лесу без сознания и не постарели, это, может быть, то. Возможно, вы вошли в одну фазу с лесом. Тут надо подумать. Возможно, нам тоже надо как-нибудь отключиться. Но потом, когда надо будет...

– Я могу заварить мухоморов, знаю один шаманский рецепт. Хорошо отключает. Правда, говорят, будут глюки. Хотя можно без мухоморов. Прикладом по голове, и – в отключке!

– Мухоморы? По голове? Дина сойдет с ума. А, может, и правда проще сойти с ума?

Геновы сапоги на ногах Дины болтались и громко хлопали. Оценить она их смогла, лишь когда ступила на плот: Максим прыгнул следом, и вода пронеслась поверху от кормы и до носа, омыв ноги. Первый плот вышел громоздким и сидел низко – это из-за половых плах, использованных вместо настила – но так настоял Максим. Удочки он прикрепил к огромному своему рюкзаку, и тот походил на нелепую ходовую рубку с наклонной сигнальной мачтой.

На другом плоту, без настила, Севолодко устроился даже лучше, он лежал на единственной плахе, подсунув под голову лесниковские вещмешки и придерживая на животе оба ружья – Градькино и оставшееся от Гены. Ноги свои Севолод зацепил за топор, воткнутый в конец плахи. Неудовольствие он проявил лишь тогда, когда Градька прыгнул на плот, и тот покачнулся:

– Дак эдак и опрахотимся! Ты учитывай, парень, плавать я не пловец. Когда и плавал, не помню.

– Ничего, Севолод. Это как ездить на тракторе: раз научился – уже не разучишься. Ну что? – крикнул он Максиму и надавил на шест. – С Богом?

– С ним! – ответил Максим. – Семь нам футов под килем.

Градька первым вывел плот на течение.

– Это сколько же? – спросил у него Севолодко.

– Что?

– Семь этих... футов.

– Больше двух метров, – ответил Градька.

– Не, – Севолодко скосился на воду. – Коли больше двух, утону.

Пересохшее и щелястое избяное дерево вбирало первую влагу, по краям бревен шелестели мелкие пузырьки. Без проблем прошли над первой корягой. Градька стоял на носу и рулил шестом. Шест был длинный, крепкий, сосновый, с обрубленным на-тупо концом и пригождался пока лишь на поворотах. Важно было не влететь в берег, затянутый ивняком. После каждого поворота Градька оглядывался. Дина махала рукой, мол, плывем, все нормально.

Когда река вошла в бор и запетляла в просторной, покрытой кустами ольхи и черемухи луговине, сразу же обнаружились следы мужиков, проплывших здесь ранее на надувной лодке.

– Вон, ты гляди, ёчи-мачи, – показал Севолодко, когда Градька снова забрался на плот, расчистив проход под упавшей с обрыва сосной. – Вона где мужики-то пролезли, только что не по берегу.

– А, может, еще их догоним? – поинтересовалась Дина, уже уставшая сидеть на плоту и скрывать с нависших над водою кустов крупную как виноград смороду. – А давайте мы их догоним и поплывем вместе?

– По земле-то догоним, – хохотнул Севолодко. – Если затор из деревьев, по земле-то догоним!..

Но больше упавших в воду деревьев им не попалось.

Болото открылось по правую руку – за небольшим, но с высокой песчаной осыпью голым мысом, увенчанным толстой, разваленной надвое под ударом молнии старой сосной.

– Сразу? – оглядываясь, кричал Градька, махая рукой вперед, на болото, – Сразу плывем?

– Погодите, – кричал Максим. – Нам надо. Нам тут надо на берег!..

– Мне тоже бы надо, Градя, – прислушался к себе Севолодко.

– Надо, так надо, – сказал себе под нос Градька, упираясь шестом в уже мягкое вязкое дно и толкая плот в траву возле берега. – Соскакивай давай тут.

– А чего-то мне скакать, я могу и отсюда.

Растопыренные Севолодковы скулы виднелись с обеих сторон затылка.

– Прикрой-ко ужо.

Градька прикрыл, и Всеволод излил на болото свое к нему отношение.

– Ладно, ты тогда посиди, а я схожу посмотрю, – сказал тогда Градька и, раскатав под пах сапоги, спустился в траву.

Вместе с Максимом они поднялись на мыс, встали рядом с сосной. Никогда еще перед ними не открывалось столь много пустоты и беззвучности. Отсюда даже небо казалось другим. Его стеклянная выгнутость, линзообразность почему-то казалась отсюда менее твердой, словно сама небесная твердь размягчалась по горизонту и колыхалась оборками. Словно юбка медузы.

– Что там, не облака? – указал Максим на эту мутную полосу за болотом. – Не тучи? Вы никогда не бывали в глазу тайфуна?

– Откуда.

– Я тоже так думаю. Но тогда бы нам стало понятно, почему так быстро прибывает вода.

– Сейчас воды чем больше, тем лучше, – ответил Градька. – Ты, главное, Максим, держись поближе ко мне. Твой нос – моя корма чтобы рядом. Веревки нет, так что надо доставать друг друга шестами. Пойдем вот этой правой протокой. Кажется, она глубже...

Протока их подвела. Широкая, она оказалась мелкой и медленной, а вскоре вообще раздвоилась и растроилась. Плот двигался как бульдозер, толкая перед собой вал болотной тины.

– Давай, живей, отводи тину вбок, отводи ты, черт, Севолодко! – ругался Градька. – Да не рукой, возьми ружье да прикладом, да не мое ружье, возьми Генково. Ну, гребни же, черт! На пенсии отдохнешь. Эдак до темна не дотащимся!

Второму плоту было легче, он шел по расчищенному, но Градька тревожился за его осадку, плот сидел низко и как-то боком. Иногда Градька притормаживал, чтобы между плотами оставалось расстояние длиной в шест. Течение совсем уж замедлилось, Градька работал шестом словно рычагом: засовывал нижний конец под корму, а верхний тянул на себя.

– Не вонзай его глубоко, не вонзай, – через голову Дины советовал он Максиму, – а то оставишь, не вытащишь. Делай, как я. Вот так – подсунул, нажал. Подсунул – нажал.

Максим уставал, их плот отставал.

Судя по солнцу, было уже часа три пополудни, когда впереди за щетинкой голубичных кустов показался первый островок чахлого болотного соснячка. Разломанная сосна на мысу пропадала за горизонтом.

– Ты поглядывай, Севолодко, – говорил Градька и внимательно осматривал островки впереди, – тут могли мужики наши проплывать. Может, какую метку оставили?

– Им-то чё проплывать, им-то чё, в леготу, на резинке-то. Это нам тута пёхтаться не напёхтаться, коли сядем на кочку. Да ты выше меня стоишь, вот сам и смотри.

К счастью, основная масса воды отвернула от островков и устремилась в другую протоку, более быструю и глубокую, плоты пошли веселей.

– Максим, слышь, – всего минут через пять спросил Градька за спину, думая, что Максим, как обычно, держится рядом. Сзади никто не откликнулся. Градька обернулся. Второй плот зацепился за кочку, его развернуло, поставило поперек протоки. Максиму не удалось его сразу сдвинуть, а Градьке не сразу удалось остановить свой. Попытка пропустить Максима вперед, с его более тяжелым плотом, тоже не удалась – протока была еще слишком узкой, а когда, наконец, расширилась, то плоты вдруг начало разносить.

Островки с соснячком уже были позади, и вода больше не разбивалась на мелкие рукава, а шла одним ровным сильным потоком прямо через болото. И – прямо по кочкам с торчащими из воды палками болотного сухостоя. Где-то впереди находился лес, и в нем уже должен быть коридор, но Градька о том не думал, он работал шестом, пытаясь свести плоты ближе.

– Бери ружье, Севолодко, пригребай, пригребай! Гребь к берегу! Во! Во, молодец! Табань! Эй! Максим! Чего у вас там?

Второй плот резко остановился.

– Мы шест потеряли! Шест! – кричала, размахивая руками, Дина. – Мы застряли!

Шест торчал из воды далеко позади плота.

– Гребь, Севолодко! К берегу! – кричал Градька. – Максим! Максим! Качай! Качай! Раскачивай плот! Севолодко, стой! Прижимай, правее! Правей, говорю, правей! Максим! Да не стойте вы там! Качайтесь! Качайте плот!

Градька спешил уйти со стремнины, подсовывал шест под боковое бревно, зацеплял им подвижную мяготь ила, но их все равно продолжало сносить. Расстояние увеличивалось.

– Давай, Севолод, помогай мне, останавливай! Максим, раскачивайте! Раскачивайте! Давите на кочку! Продавливайте ее! Качайте плот! Качайте сильнее! Что? Что? Эх, вашу-мамашу! Севолод, гребь к берегу!

Градька поглубже засунул шест по бревно, и, плюхнувшись задом на мокрые бревна, изо всех сил потянул конец на себя. Треск! – он взметнул над собой ногами, плот тут же развернуло, а обломленный шест сосчитал под плотом все бревна.

– Хва-ай!.. – заорал Градька, сам перебросившись на другой борт плота, только поздно: торчащий конец шеста был уже далеко.

Расстояние увеличивалось. На другом плоту двое давно молчали. Молчали и здесь. Градька смотрел на лес. До него уже было метров сто. Чем ближе оказывался каньон, тем сильнее становилось течение. Градька схватил второе ружье и начал помогать Севолоду, но скоро понял, что все бесполезно. Другой плот заметно уменьшился, и люди на нем больше не различались в отдельности.

– Севолод, – сказал Градька и прицелился глазом на лес, где уже хорошо был заметен характерный подлесок. – Севолод, раздевайся.

– Ты чё, ёчи-мачи, я не!

Градья снял свои сапоги, вытащил из плахи топор и засунул его в вещмешок.

– Снимай, ёчи-мачи твое, сапоги! – крикнул Градья, – Тут не будет глубже двух метров.

– Я не!

Градья взвесил в руке вещмешок и понял, что не докинёт. Вынул топор назад, затем снова засунул руку вовнутрь и достал патронташ. Застегнул на пояс. Затем достал и прицепил к поясу нож.

– Севолод, раздевайся, утонешь ведь!

– Не! – завопил Севолодко.

– Я тебя поддержу. Доплывем.

Подлесок был уже рядом.

Градья крутнул поверх себя один свой сапогом и с силой послал на берег. Второй полетел вслед за первым. Плот заметно откатнуло от берега. Течение ускорялось.

– Хоть убей, – внезапно успокоился Севолодко, увидев в руке у Градья топор. – Убей, говорю, чего уж, все одно теперь уж без пенсии. Плыви сам. Мне-то все одно. Ужо-ко лягу, может, оно еще пронесет...

– Не глупи, Севолод. Вместе надо держаться.

Топор улетел в подлесок.

Времени больше не оставалось. Вода бурлила, как в паводок, уносясь в горловину пугающего лесного провала. Градья схватил ружье и прикладом вперед, как копье, изо всей силы послал на берег. Он не видел, как оно упало меж сосен, потому что потерял равновесие и упал на колени, шлепнув руками о воду. Севолодко успел ухватить его за штаны и втащить на плот. Градья вскочил, отряс голову и в последний раз посмотрел туда, на еще открытость болота с почти что не различимым на нем плотом.

– Убей здесь, – сказал Севолодко, – я не поплыву.

– Дай-ка эту! – Градья выхватил у его Генову бескурковку, достал из своего патронташа горсть латунных патронов и два из них засунул в стволы.

– Убивай. Убивай. Да Христа ради! – открывал-закрывал Севолодко рот, дыша, как рыба на берегу.

Градья быстро шагнул к нему и ударил прикладом в темя. Севолодко уткнулся ему в колено и начал сползать лицом по штанине.

– Ёчи ты мачи, Сев, – только и сказал Градья, подсунув ему под голову свой вещмешок. Бескурковку повесил ему на грудь, пропустив ремень под рукой. Остальные патроны он затолкал Севолодку в карман.

– Давай, Севолод, отдыхай.

И, выдохнув, соскользнул с плота в воду.

Прошло полчаса, прежде чем босиком, пробежав по влажно-теплому лесу, он отыскал ружье и выстрелил в воздух. Прислушался. Тихо. Последний сухой патрон, из двух сидевших в стволах, он решил приберечь.

Потом нашел сапоги. Из одного подевался куда-то комок портянки, пришлось рвать рубашку. Ноги сильно намялись на корневищах, валежнике, ежиковатых сосновых шишках, истыкались хвоей, но, к счастью, быстро подросшие ногти не заломились, и он отхватил их ножом.

Топор отыскался чудом, но не хорошим. Градья совсем отчаялся его отыскать, когда вдруг носком сапога ударил прямо по лезвию и рассек резину. На болоте пробитый сапог наполнился водой по колено, и та с силой вычавкивала оттуда вверх, холодя самый пах. Часа через два он совсем обессилел, но зато был на островке, заросшем кривым соснячком и кустиками твердой полужрелой голубики. Отсюда он хорошо видел плот с Максимом и Диной и хотел было крикнуть, но изо рта выдавилось одно шипение. Он лег на спину,

отдышался, выставил на небо липкое от грязи ружье, взвел курок. Грохнул выстрел. Градька раскинул руки, немного дивясь тому, что ружье осталось над ним стоять, будто воткнутый в мох часовой, и закрыл глаза.

Лежать было хорошо.

Он слышал, что ему кричат, и сам поднимал вертикально руку, махал над собой кистью и снова ронял. Лежать было хорошо.

Рука в полусгибе упала на что-то грязное, мягкое. Это что-то шумно дыхнуло в лицо и капнуло на щеку. Он приоткрыл глаз и увидел зверя. Приоткрыл второй и увидел волка. Распахнул оба и увидел Вермута.

– Вермут, ты? – удивленно проговорил Градька, и небо обрушилось. Вермут истерично вскулил и сразу же бешено-громко залаял. Он лаял даже тогда, когда уже Градька встал на колени и протянул к нему руку. Лаял без умолку, с какой-то надрывной обидой, а потом опять заскулил, заскулил и заплакал, то пытаясь лизнуть в лицо, то скребя лапой по Градьковым сапогам, соскребая с них подсохшую грязь, и сам был грязен.

– Вермут, Вермут, – Градька мямля в руках две мохнатых тряпицы ушей, чесал за ушами, грудицу, меж лап, умирая от сладкого запаха псины. – Верный ты Вермут. Верный. А Сано, где Сано? Как ты меня нашел? Ты откуда?

Но Вермут только продолжал виться, биться, заходиться от радости. Энергия его быстро передалась Градьке. Вскоре он уже был на ближайшем к плоту островке.

– Мы тебя видели! – кричали ему с плота. – А потом выстрел! А это Вермут?

– Верный! – кричал им Градька. – Он верный! Верный! Мы с ним сейчас! Теперь скоро!

Но только в сумерках удалось снять людей с плота, и даже взять удочки и притащить рюкзак, правда, вытряхнув из него палатку. Несколько сухих сосенок, связанных ружейным ремнем, сделали свое дело. Но Максим чуть не утонул.

– Ладно, жить дольше будешь, – успокаивался его Градька, когда вытащил на сухое место и передал Дине. – Зря только страху на нас нагнал.

– З-зря? – возмутился Максим, все еще трясаясь. – Хорошее у вас зря.

– Хорошее, а что? – Градька кивнул на оставленный плот. – Там было лучше?

– Нет, – мотнул головой Максим, показывая на лес: – А там?

– Там тоже не лучше. Там плот не срубишь. Да еще на троих. – Он посмотрел на пса. – Четверых. Ну, что, Верный Вермут, бросил хозяина?

Пес уткнулся мордой в мох.

– Я уже не знаю, где лучше, – закончил Градька.

– Только не здесь, – вытиралась футболкой Дина. – Здесь, конечно, лучше, чем там, – она в свою очередь кивнула на плот, – но там, – кивнула вверх по реке, – еще было лучше.

– Тогда нам сначала туда, – в свою очередь Градька кивнул в сторону лежневки.

Казалось, что они распасовывают какой-то воображаемый мяч и даже Вермут, лежа между них, вострил туда-сюда свои далеко не острые уши.

– Надо возвращаться назад, рубить новый плот и ждать, когда воды станет больше, – предложил Градька. – А, может, и просто ждать...

На это Максим и Дина задумались, но кивнули одновременно. О Всеволоде они даже не спросили, а Градька не вспоминал. Все, что не касалось сиюминутных забот, уже было в прошлом. Прошлое стало не только категорией времени, но и пространства.

С болота всех вывел Вермут и уже ночью. Максим с рюкзаком шел за собакой первым. Градька с шестом замыкал шествие. Как ни устал, он порою смотрел в спину Дины, и та неожиданно оборачивалась. На это он реагировал с замедлением, оборачиваясь и сам – будто спрашивал: ты что там увидела? В один из таких моментов он заметил два знакомые зеленые огонька, но не поверил глазам.

К лежневке они не вышли. Вермут их вывел к мысу между рекой и болотом, к расколотой молнией толстой и корявой сосне, под которой упали без сил и уснули.

Градья несколько раз просыпался. Вермут напряженно глядел в темноту, на болото и виновато вилял хвостом, когда видел, что на него смотрят.

Весь следующий день они возвращались в Селение, а когда возвратились, уже не помышляли о подвигах. Тем же вечером последним обмылком мыла они постирали одежду, прокипятили с золой белье. День ушел на обустройство избы. После уборки, сперва генерального расхламления, а потом приложения женской руки (даже камень на бочке был вытерт от пыли) зимовка обрела черты быта. Тому способствовали и промытые окна с уцелевшими стеклами и выдерганная снаружи крапива.

Была попытка протопить печь, но дым повалил во все щели. Их забили сырою глиной, однако тяга лучше не стала. Градья полез на крышу. Он вытащил из трубы воронье гнездо и начал уже спускаться, когда заметил на горизонте знакомую темную полосу. Та стала шире, и по верху ее кучерявилось что-то бурое. Без сомнения, облака.

В тот вечер закат был менее желтым, а больше – светло-коричневым. Необходимую красноту добавлял костер. Утро окрасилось легкой охрой.

Протянулось несколько дней.

Максим, когда не рыбачил, часами сидел над берегом и что-то строчил в свою большую тетрадь. Градья, когда не охотился, не выпускал из рук топора, подправил в зимовке полы, подтесал дверь, подлатал крышу, из жердей и трех досок соорудил небольшую лаву через реку – в брод уже было не перейти.

Днем его обуял зуд строительства, отключавший мысли и чувства, но к вечеру, свистнув Вермута, он шел на болото, взбирался на кабину трактора и прикидывал расстояние сначала на глаз, а потом по вешкам. Их наставил по всей лежневке, через каждые двести шагов, но никак не мог найти логики в поведении леса. Дело было не в том, что тот надвигался – в том, что скорость его надвижения оказалась неравномерной. Не удавалось вычислить, сколько суток остается до того дня, когда лес непосредственно подступит к Селению. Были дни когда подлесок глотал то пять-шесть вешек за сутки, иногда всего одну-две, а то он сразу делал прыжок в километр. Градья терялся. Он делился своими соображениями с Максимом, тот сам порывался идти на болото, но Дина категорически не хотела оставаться одна и не шла с ними. Она признавала только один маршрут: изба – костер – река.

Вечерние краски с каждым днем становились все более темными и насыщенными. Закаты уже были цвета той молодой сосновой коры, что и канувшие за лес глаза помлещего. Будто он на них смотрит оттуда...

В этот поздний час Градья вскакивал и с новой силой принимался рубить большой, со стенами и крышей, похожий на ковчег плот. Максим ему не помогал. Словно понимал, что это не столько средство спасения, сколько средство забыться.

Ночами, сидя, как всегда, у костра, Максим начинал говорить очень длинно и выпендренно. Словно произносил речь в суде – в защиту себя и всех, на земле живущих. «Совесть – хрупкий кораблик», находил он неожиданные сравнения, «хрупкий кораблик, проплывающий между Сциллой морали и Харибдой нравственности. Одна говорит: не делай того-то, другая – делай то-то. Эти скалы начинают смыкаться, как только кораблик-совесть к ним приближается. Медлить меж ними – самоубийство. И самоубийство – осознанно медлить. Нас убивает не решение что-то делать или не делать, не нравственность, не мораль. Нас убивает наша нерешительность. Вот животные, они никогда не медлят». И Максим отворачивал голову, подставляя Градье затылок. Тому и правда порой хотелось взять головешку и со всей силы стукнуть по этому черепу. А там хоть под суд!

Прошло три дня.

Река уже сильно взбухла и грозила разлиться, хотя вода по-прежнему оставалась прозрачной, чистой. Максим с утра до вечера проводил на реке, ловил рыбу, отводя душу на каких-то непуганых хариусах, хватавших почти на голый крючок.

Градька приносил мясо. Он старался беречь патроны, но слишком много было соблазнов: то попадался жирняга-селезень, то высыпали на елке рябчики, похожие на большие пернатые черные шишки. И, как шишки, они не пугались выстрелов.

Дина пыталась готовить еду, иногда у нее это получалось. У них давно закончились все припасы. В последнем коробке спичек оставалось всего лишь несколько штук, их берегли, а поэтому костер горел теперь круглые сутки. Проблемы не было только с солью: в подклети лежала глыбами соль-лизунец, запасенная еще годы назад охотниками. Градька дробил ее топором, мелкая шла на еду, с крупной – вялили рыбу, а один кусок этой каменной соли он постоянно носил в кармане...

На болоте появлялось все больше лосей. Звери все чаще выходили на открытое место, служа провозвестниками того, что кольцо леса продолжает сжиматься. А однажды, придя на болото, Градька увидел подлесок уже поглощающим трактор...

С первого выстрела, пропитанная соляркой ветошь не загорелась. Пришлось слить бензин из бачка пускового двигателя. Но затем, поддавшись дурной и минутной прихоти, Градька дернул за шнур пускача и с минуту, пока в карбюраторе не иссяк бензин, наслаждался отсутствием тишины. Этот истошный, железный, закладывающий уши рев постепенно завел и Градьку. Он сперва лишь открывал рот и морщился, а потом тоже, закинув голову, заорал – что есть мочи, на лес, на небо, на бурый, сосновой коры, закат – на себя, на людей, на Вермута, поджавшего хвост и бежавшего прочь. Пока в предсмертной тоске орало железо, что завтра начнет обращаться в ржавую пыль, орал и Градька, не слыша себя ушами, но лишь изнутри. Он орал как никогда в жизни. Орал, как могли орать только его пещерные предки, не могущие иначе выразить, как им плохо. Орал, как последний на Земле человек, изгоняя из мозга остатки не нужного больше разума.

Потом выстрелил в мокрую от бензина ветошку и ушел, не оглядываясь. Отраженные сполохи красно играли по всей широкоэкранный опушке соснового бора.

Утром еще висела над лесом белая дымка, к полудню она растаяла.

Новый лес пересек болото буквально на следующий же день, но еще неделю стоял против бора, словно принохивался. Не входил и не обходил. Было странно видеть этот короткий отрезок дороги, что одним концом уходил под волну подлеска, а другим утыкался в стену деревьев, как в стену острога. Но и эта нейтральная полоса существовала недолго. Настал тот день, когда новый лес пошел через старый. Новый бор через старый бор. Впереди неслась какая-то тепличная влажность, воздух был горяч, влажен, но мох под ногами ломок, будто его забыли полить... Бог – это поливальщик мха, думал Градька и не видел Бога вокруг. В этой прозрачной, но явно имеющей внешний предел теплице летели на землю одни исполины, и подрастали другие. Можно было протянуть руку и оторвать верхнюю почку у ближайшего деревца, растущего возле поваленного ствола. А потом наблюдать, как боковые ветки обзаводятся новыми точками роста, и одна из них побеждает другие. И тогда сосна начинала расти перевернутым вниз головой вопросительным знаком.

Иногда, тоже вниз головой, свешивался с высокой ветки одинокий глухарь, вопрошая стоящего внизу человека: ты кто?

– Ужо покажу, – отвечал ему Градька, стучая по бедру стволом висящего на плече ружья. Но стрелять не стрелял. С тех пор, как к Селению вышла медведица с медвежатами и явно не полюбила Вермута, Градька всю дробь и картечь из еще оставшихся трех снаряженных патронов переплавил на пули.

– Ну что, стоит?

Дина уже поднялась и умылась, пожевала сырой дикой репки, которую ей предлагали теперь взамен зубной пасты. Он была в синей, наверное, чистой, но мятой рубашке и в черных джинсах, в каких была и всегда. В последнее время что-то в ней изменилось. В ней появилась мягкость, но это была какая-то ожесточенная мягкость. И даже ее равнодушие к тем вещам, что тревожили Градьку да и Максиму, не было уж совсем беззаботного свойства. Наоборот, ее что-то заботило, но заботой, о которой они не догадывались.

– Лес, я спрашиваю, – повторила Дина, вешая над огнем чайник.

– Стоит. Опять стоит, – ответил Градька, верхом сел на плаху, снял сапоги и вытряс труху в костер. – Максим где?

– Там, – кивнула на реку Дина. – Гоняется за своей щукой, последнюю железную ложку забрал на блесну. А мелких вон сколько уже принес.

Она поболтала ведром и принялась чистить рыбу.

Градька вытянул свое тело по плахе, заложил руки за голову и закинул ногу на ногу, шевеля в воздухе пальцами ног. За ногой, в разогретом струящемся воздухе хорошо виделась вырубка, будто стриженная голова новобранца с пропущенными клочками волос – недорубами.

– Лес везде стоит, – повторил Градька. – И в бору стоит. И вверх по реке стоит. И на просеке. Везде стоит.

– Может, он передумал расти?

– Поди бы неплохо.

– Слушай, Градь, а что, если он не будет больше расти? То есть, расти, но стоять?

– Угу. Максим вчера говорил, все растет стоя, только мы – лежа. Звери ведь не ложатся, только подгибают ноги. Их вертикальный вектор, он говорит, всегда строго вверх. Как у деревьев их точка роста, верхняя почка. У нас тоже там, где родничок у ребенка. Тоже вверх, но мы-то ложимся...

– Вы бы тут больше не сидели ночами, а? И вообще ты зря ушел из зимовки. Стесняешься?

– Да нет. Зачем. Просто всего две спички у нас осталось. Костер надо караулить. – Градька спустил вниз руку, нащупал и положил на угли дровину. – Вам тоже... мешаю.

– Да ты что? – Дина перестала чистить рыбу. – Из-за этого?

Градька растопырил на ноге пальцы, большой и безымянный, и прицелился через них на вырубку. Вниз по ней, к островку недоруба, похожему на метелки травы, спускалась лосиха со своим ногастым лосенком. Они всегда в это время появлялись на вырубке. Лосенок, вероятно, проводил в недорубе свой тихий час, а когда спадала жара, лосиха его уводила обратно в лес.

Дина тоже на них смотрела. Потом воткнула нож в дощечку, вытерла о траву руки, подошла к плахе, скинула Градькины ноги на обе стороны, оседлала плаху сама и уперлась руками в его бедра. Солнце светило Градьке в глаза, но зрачки его от удивления и почти испуга расширились, он почти ослеп и совсем не мог говорить.

Дина говорила сама:

– Может, я хуже всех, может, я подлая... Знаешь анекдот про армянское радио? Можно ли забеременеть от валерьяновых капель? – жестко спросила она, и положила руку ему на пах, потом вторую, потом сильно нажала большими пальцами на внутреннюю поверхность бедер – туда, где долгое время натирали ему в промежности голенища болотных сапог. – Да, хоть от валерьяновых капель! Как хотите, но только пустая я туда не пойду!..

Он кинула голову назад, на лес и, еще не закончив кивок, начала оборачиваться.

Максим приближался, волоча за жабру толстую щуку. Остановился, выпустил рыбину, и стал медленно подходить ближе. Дина не шелохнулась. Ее голова поворачивалась в его направлении, пока, наконец, глаза не уперлись Максиму в живот.

Градька почувствовал себя распятым на доске идиотом. Как недавно распял сам себя в дверях, заскочив за ножом в зимовку и чуть не наступив на них, на обоих – полуголых, на полу, под самым порогом. Но увидел только ее, в каком-то неистовстве натаскивававшей любовника на себя, ее болевую зажмуренность, раскрытость рта и зубовность... Не любовь, не страсть, не похоть. Какую-то голую биологию. Именно той ночью Максим впервые заговорил адвокатским тоном. «Не достичь потолка нравственности», выудил он себя цитату, «не касаясь проблемы...» Последнее слово взял в воздухе квадратные скобки. «Не касаясь проблемы пола».

Сейчас Максим не сказал ничего. Он подошел и дал Дине пощечину. Та медленно перекинула через плаху ногу и села к нему спиной. Градька тоже сел, и тоже перекинул ногу, но на другую сторону. Встал и стукнул Максима в лоб:

– Зря ты...

Тот растянулся в траве.

Лес начал двигаться на следующий день. Было странно видеть, как бор движется через бор. Но Градька больше туда не заглядывал, он старался не отходить далеко от Селения – зверье обнаглело, ночью стали выть волки, рысь гуляла по чердаку.

Обходя в тот день дозором избу, Градька как-то по-другому увидел лежащий на боку вертолет и стал посвящать ему все свободное время. Это было и кстати. Максим с ним больше не разговаривал, как-то странно дичился, а Градька не заходил в зимовку. При этом Дине их отношения доставляли одно удовольствие. Она поглядывала на того, на другого, подавала еду с многозначным прищуром, подначивала. Сама ела много, спала допоздна, могла быть полдня безмерно тупой, разморенной, сонной, а полдня – гибкой, кусачей, хватала Максима за неположенные места, и тогда Градька куда-нибудь уходил.

Сизым душным рассветом Градька проснулся от лая Вермута. Он спал как всегда у костра, на половой плахе и, еще не открыв глаза, сразу взвел курки и повел ружьем в сторону лая. Вермут сидел над берегом и лаял на вырубку. Градька подкинул в дымящуюся золу несколько тонких дровинок, положил сверху толстую, встал, разлепляя пальцем глаза. Тихо. Только трещала где-то сварливая невыспавшаяся сорока. Вермут лаял на вырубку.

– Что, опять твоя пришла? Ну, не лай, – он дернул пса тряпичное ухо. Градька не видел в рассветном тумане голубую волчицу, но знал, что это она. Ее стремительный промельк через кусты он видел всего лишь раз, хотя следы ее встречал каждый день. Крайний ноготь на левой задней лапе был вывернут наизусть и оставлял на песке отпечаток серпа.

Вермут снова залаял. Когда солнце встало выше и прогнало туман, Градька понял причину: там вдали на холме стоял новый лес. Стоял, как вражеская рать, щетинясь пиками и копиями – от края и до края.

Градька присел возле Вермута, обхватил его левою рукой за шею, почесал ногтями грудину, между передних лап, поскреб за ушами и оттолкнул.

– Все верно, Верный. Пошли варить мухоморы.

Два десятков красивых молоденьких мухоморов он отобрал заранее и подвялил. Варить полчаса, первую воду слить, во вторую сначала добавить корня узики, потом слива с левого глаза мертвого ворона, потом еще несколько луговых травок, (которых пока еще не было), и печень краснопузой ящерицы, которая была, (хотя, может быть, и не печень). Очищать толченой пережженной костью. Отстаивать, вырыв ямку в земле, где-нибудь в погребке. Потом развести, пить глоточками. Но главное, не ложиться. Главное, чтобы голова была выше уровня сердца, иначе последнее может не выдержать. Поэтому нужен еще вале-

рьянов корень. А выпив, нужно сидеть, или лучше всего ходить, зато потом можно проспать трое суток. Рецепт ветеринара-вепса, на старости лет признавшегося в своем родовом шаманстве. Местный полу-анекдотичный рецепт для проверки неверных жен. Один раз сработавший и один раз нет, из-за чего был суд и много шума. Градька забыл, как по-вепски «валерьянов корень». Но звучало как-то смешно.

Через пару часов он залез в подклет, вырыл там ямку, поставил в нее полбанки со снадбьем, прикрыл лопухом. Вылез и через кусты пошел к вертолету.

Вертолет лежал в кустах на боку, откинув в сторону бесколесные костыли шасси. Полуоторванная дверца салона свисала вовнутрь, обнажая в борту овальный черный провал.

Градька теперь о многом жалел. И больше всего о тракторе. Стекла от него сейчас очень быгодились. У вертолета все стекла были полностью выбиты, сохранилось лишь несколько круглых иллюминаторов. Внутренностей тоже практически не было, двигатель раскурочен, приборная доска выдрана, но Градьку это волновало меньше всего. Ему нравилось, что вертолет дюралевый, нержавеющий и весь – готовое укрытие. Надолго ли – это сейчас волновало меньше. Будет ли в сутках двадцать четыре дня? Или в неделе – семь лет? Или за год пролетит целый век? Или все-таки? Ради этого «или все-таки» стоило попробовать. И Градька пробовал. Он всюду, в избе и около, собирал то, что не сразу бы поддавалось распаду, тлену и ржави. Собираал кирпичи, искал стекло и пластмассу, медь, алюминий. Реквизировал капроновый шнур из Максимова рюкзака, да и сам рюкзак ему нравился тоже – из прочной синтетики, может пригодиться на тетиву.

Градька настилал в вертолете пол, подгоняя топором доски, когда Вермут снова залаял. Сквозь кусты пробиралась Дина.

– Ты здесь? Скорей! Он сошел с ума! Скорей! Ну, скорее же ты!

Она побежала вперед. Зимовка была пуста.

– Он только что был здесь! – кричала Дина. – Вот его сапоги и куртка. Максим Валерьянович! Максим Валерьянович!

Градька осмотрел весь дом, пробежался по чердаку, погрозил кулаком зеленому глазу притаившейся за стропилом рыси, пошарил в подклете. Максима не было.

Он нашелся на берегу, сидел у самой воды, с пустым, без снасти, удилищем меж колен, босиком, в одной полинялой майке. Он тоже сильно зарос. И без того впавшие глаза провалились почти до затылка, лоб сжался в толщину сложенного веера.

В сухой ржавой банке ползали дождевые черви, пробуя по шершавым стенкам взобраться наверх, вытягивались, срывались. Максим их ел. Выуживал червяка за конец, споласкивал в воде, потом аккуратно, чтобы тот не сбежал, клал себе на язык и долго, прислушиваясь к себе, жевал. Трудно было сказать, получал ли он удовольствие. Глотая, он весь кривился и морщился. Потом сплевывал, зачерпывал ладонью воду, полоскал рот и фырр! – выфыркивал из себя воду, но опять доставал червя. Дина переломилась и отползла на карачках вглубь берега. Градька сел рядом.

– Горько? – спросил он, чуть помолчав.

– Вообще да. Но рыбам, понимаете, нравится.

Он сплюнул, стайка уклеек тут же бросилась на плевков. Расклевала, размолотила хвостами и разбежалась.

– Вот попробуйте, – предложил Максим, – Возьмите вот этого, самый крупный. На окуня. Угощайтесь, у меня еще много, я не обижусь. А хотите, сначала помойте. Я сам не люблю, когда на зубах земля.

Градька взял червяка за конец, опустил в воду, пополоскал и расцепил пальцы. Червяк извиваясь ушел в глубину.

– Жалко, – сказал Максим. – Хороший был... Одного могу еще дать, но, вы уж пожалуйста, держите крепче. Сразу видно, вы не рыбак. Нет, дайте я сам помою. Этот поменьше, но тоже хорош. Держите. На здоровье.

Градька сунул в рот червяка, прижал языком, поводил челюстями, будто жуя, набрал в рот побольше слюны, зажмурился и проглотил. Стараясь не суетиться, зачерпнул в ладони воды ипил, пока щекотливое шевеление не опустилось в желудок. Во рту стояла страшная горечь. Разве что не острая, а тупая.

Градька посмотрел на Максима.

– Нет, больше не дам, – покачал головою тот и забрал на колени банку, – сами пойдите и накопайте.

Они помолчали. Максим съел еще червяка. Потом потряс банку и снова покачал головой:

– Надо оставить на вечернюю зорю.

Он тяжело, засиженно встал, положил удилище на плечо, взял банку и поднялся на берег. Градька пошел за ним следом.

– Дина! – кричал Максим, – Дина, стой! Не уходи. Нет, ты представляешь, опять ушла, сорвала крючок и ушла. Килограмм на... ну, очень большая. Но ты не расстраивайся, вечером я ее поймаю. Так, что у нас на завтрак? Проголодался, как... рыба. Именно! Я проголодался, как рыба!

При этом он посмотрел на руки и брезгливо потряс их.

– Слизь какая-то, гадость. Дина, дай полотенце! Чего это у меня меж пальцев? Слизь какая-то... Дина!

Дина между тем отступала и отступала, потом развернулась и побежала к избе. Было слышно как в зимовке захлопнулась дверь.

– Сейчас принесет, – сказал Максим и сел на камень возле костра. – Садись, Градислав, садитесь. Сейчас она принесет.

Он обтер о штаны каждый палец.

– Пальцы чего-то слипаются. Неприятно. А у вас как сегодня улов?

– Да так, – сказал Градька, сядя на землю. – Средне.

– Вам надо было сразу идти ко мне, на мое место.

Максим растопыривал перед самым носом и снова сводил воедино сухие грязные пальцы. Потом закатал рукав.

– Ага! – и поддел что-то воображаемое ногтем. Отлепил, внимательно посмотрел на просвет, шевеля губами, словно считая кольца на чешуе. Потом, удовлетворенный, прилепил «чешую» обратно, спустил рукав и снова обтер о штаны каждый палец.

– Человек, Градислав, как вы знаете, вышел из воды... Его кровь, как вы знаете...

И говорил минут пять без перерыва.

– Его облик... —

И еще пять минут. «Морфология его тела... жабры... боковая линия... плавательный пузырь...»

– погоди, Максим, послушай меня, – несколько раз пытался прервать его Градька, но тот ничего не слышал.

Градька встал и сделал шаг в сторону, потом другой, потом быстро добежал избы, постучал в оконный переплет. Дина выглянула на миг, прижимаясь щекой к стеклу. Наконец, осторожно открыла дверь:

– Он там?

– Возьми какую-нибудь тряпку, и как подойдешь, подай ему в руки. Только будь как ни в чем ни бывало, естественной. Разговаривай и со всем соглашайся.

– Что с ним? Он что, он правда сошел?

Градька почесал бороду.

– Не обращай внимания. Ходи, будто ничего не случилось. И постарайся что-нибудь приготовить. Лес уже спускается по вырубке. К вечеру может быть у реки. Надо поплотнее поесть. У меня все готово.

– Есть мясо, но оно все протухло. Есть вобла...

– Ладно. Я сейчас пробегусь с ружьем.

– Только не уходи.

– Я близко.

Максим все также сидел на своем валуне и говорил, обращаясь к устойчивым язычкам огня.

– ... и, наконец, последнюю точку в их жизненном цикле ставит мужчина. Когда он польет икру своими молоками, их пара обречена и медленно погибнет. Обезображенные тела катятся вниз по реке, но лишь человеческой молодежи через какое-то время вновь удастся вернуться... Спасибо Дина, – он взял полотенце. – Все хорошо, только понимаешь... слизь... Неприятно.

Он протер руки и, растопылив пальцы, опять посмотрел на свет. Потом пооттягивал между пальцами будто что-то податливое, резиновое, и снова протер каждый палец.

– Ничего страшного, это плавники. Спасибо, Дина. Садись, я сейчас закончу.

– Да вы говорите, говорите, Максим Валерьянович, – сдавленным голосом поддакивала Дина. – Вы говорите, я слушаю. Я буду делать дела...

– Я ведь давно догадывался, ибо подспудно чувствовал, значит, интуитивно знал...

Градька не стал далеко уходить, он прошелся вокруг по кустам, потом дошел до реки, с трудом перешел на тот берег – вода грозила смыть переправу. Вермут повизгивал сзади, боясь ступить на дрожащие, гудящие доски.

– Черт с тобой, оставайся, – отмахнулся от Вермута Градька и начал быстро подниматься на вырубку, навстречу вражеской рати леса. Добравшись до недоруба он обернулся. Изба отсюда виднелась отчетливо, от костра строго вверх поднимался тонкий дымок, Максим сидел, слившись с валуном.

Неожиданный шум заставил вскинуть ружье. Из недоруба вышла горбатая кабаниха со своим полосатым выводком, мелкоглазо посмотрела на Градьку, совершенно не признавая в нем человека, но предпочла увести поросят обратно.

Градька, высматривая кабанчика пожирнее, стал медленно обходить недоруб по кругу. Кабаниха, словно что понимая, тоже двигалась внутри недоруба и все время оказывалась на линии огня, закрывая собою выводок. Плюнув, Градька повернулся спиной, но едва успел сделать шаг к наступающему подлеску, как судорожно втянул голову в плечи... Быстрый мягкий шум, за ушами оглушительно лязгнуло, удар в спину послал его вперед кубарем, но на лету он еще успел схватиться рукой за затылок. Ударился о землю локтем, руку словно пронзило током, ружье отлетело.

Градька крутился, отбивался ногами, рваные лоскуты сапога хлопали в воздухе, как черные крылья. Наконец, отдал ей в зубы левую руку, пока непослушной правой нашаривал на поясе нож. Ударил снизу, в мягкое брюхо. С силой продернул лезвие на себя. Кишки вывалились ему на живот, потом, как живые, стали отползать на землю и уползли вовсе.

Он опрокинулся на бок и только тут увидел ее целиком. Волчица отползала. Боком, рывками. Заднею лапой, с тем свернутым набок кривым полумесяцем-когтем, она зацепливалась за внутренности и еще сильнее выдирала их из себя – уже грязные и облепленные былинками, земляной трухой и вездесущими муравьями. Скалясь и мелко-мелко прищелкивая зубами, она прикусывала кишки, тянула, рвала – и зубами и задней лапой, но те уже прочно оплели ногу и не отцеплялись. Потом она улеглась. Как держала в зубах одну из про-

кушенных, подсыхающих темно-сизых ленточек, так с нею и положила на землю голову, по-прежнему не сводя с Градьки пристальных, словно сведенных к переносице глаз.

Она умирала молча.

Пока она умирала, Градька не двигался с места. Потом стал снимать с затылка рваные патлы волос с лоскутками белого скальпа и ребром ладони сгребать с груди загустевшую волчью кровь. Его передергивало: меж лопаток тоже стекала кровь, но с затылка, своя. Он пошевелил пальцами левой руки. Пальцы сгибались и разгибались, как у механической куклы.

Градька скинул рваные лопухи сапог, встал на колени и снова взглянул на голубую волчицу. Та тяжело сморгнула, но ответила быстрым и острым взглядом. Потом закрыла глаза, устало, по-человечески. Ее голубая подпушь на брюхе слиплась в единое мокрое-красное, сосцы вывернулись наружу.

– С ума сошла, дура, – только и сказал Градька, поднимаясь с колен.

Недоруб мешал ему видеть Селение, он отковылял в сторону, высмотрел избу и дымок костра. Там все было спокойно. Потом посмотрел на подлесок. Ощупал еще раз затылок, понянчил левую руку. И снова взглянул на подлесок. Тот был близко. Был почти рядом. Но Градька брел до него, ему чудилось, вечность – приседая и нянча больную руку. А когда добрел и вошел – как нырнул с головой под волну, то стоял уже столько, сколько требовалось на то, чтоб затихла рука и умолк оскальпированный затылок.

Когда он вышел назад, суставы почти не гнулись. Ощущение, будто сняли гипс. Градька намучался, пока отряхнул от коросты руку, потом разделся до пояса, ощупал длинный кулдук на затылке, похожий на затылочный гребень какого-то динозавра, отбросил ногой заскорузлый панцирь рубашки, надел безрукавный китель на голое тело и вернулся к волчице. Встал перед ней на колени, подгладил ее неподвижный бок, укутанный в мягкую, с голубоватым свечением по подшерстку шкуру, и стал свежевать.

Он складывал шкуру, стараясь мездрой не запачкать мех, когда вдруг увидел покотившийся от реки шар.

Вермут не добежал. Остановился в шагах десяти, приняхиваясь.

– Балда ты Верный, – обиделся на него Градька, – балда. Не мог раньше. Чего смотришь? Или сюда.

Вермут не подошел. Он стал обходить по кругу, приняхиваясь и скалясь.

– Ты что это, Верный? Или ко мне.

Градька протягивал к нему руку и нешумно пощелкивал пальцами. Вермут продолжал скалиться. Подошел к ружью и встал между ним и Градькой. Зарычал. С пасти капнуло белой пенной слюной.

– Ошалел? – прошептал, Градька, внутренне беспокоясь. – Ошалел? Ты что? Верный! – И сделал навстречу шаг.

Со второго шага Вермут попятился и зарычал еще громче.

– Да вы что! Все с ума посходили, что ли! – сразу в голос закричал Градька. – С ума посходили, да? – Он кричал со всей силы, глядя в мутные собачьи глаза, стараясь сам не мигать. Еще шаг, и Вермут наступил на ружье, еще два шага и ружье было между ними.

– Я тебе уши выкручу, хвост в твою поганую плотку засуну и буду держать, пока не подавишься! Лапы вырву, козел! – орал Градька, чувствуя, как режет глаза и текут слезы, но смигнул лишь тогда, когда бросился за ружьем и уже влет, прикладом, падая сам, отбил прыжок Вермута. Вскочил, но пес пустился бежать, по кругу, по кругу, не давая прицелиться, и так быстро, что начало кружить голову. Градька чувствовал, что проигрывает собаке. Тяжелая, каменная косица стучала по спине, отдирала с затылка волосы. Он прицелился, но взял не то упреждение, и пуля вскопала землю чуть впереди Вермута.

Тот бросился в другую сторону – летел, сужая круги, пытаясь забежать за спину, пенно оскаленный, мутноглазый. Когда Градька опускал стволы, он вспахивал задними лапами землю, скользил на заду в развороте и летел навстречу, потом снова неся по кругу. Это длилось невыносимо долго, Градька стал уставать, не решаясь на выстрел, боясь промахнуться вторым патроном, и чувствуя – Вермут не даст ему времени перезарядиться. Третий, самый последний патрон лежал в кармане штанов.

Градька не знал, что делать, голова кружилась до тошноты, он больше не выносил этой карусели. На миг опустил стволы. Вермут на бегу развернулся. Градька снова вскинул ружье, Вермут вновь помчался по кругу, но Градька уже услышал голос спасения. Спасение исходило от тела. От большого пальца правой руки. От привычки, вскидывая ружье, взводить одновременно курки. Градька медленно курок взвел на уже стрелявшем стволе, на стволе с пустой гильзой. Прицепился на полморды впереди Вермута. Щелчок. Вермут на миг присел, вскочил... короткая прямая пробежка. И тут второй ствол проснулся. Пуля попала собаке в грудь. Вермут пал там, где взлетел в прыжке.

– Душу-мать, Вермут! Сано бы пожалел.

Он подождал, пока Вермут отдергается, и стал снимать с него шкуру. Зачем, он и сам не знал. Так было надо. Из-за слёз, рука шла нетвердо, и шкура прорезалась во многих местах.

От реки Градька прошел берегом к вертолету, забросил внутрь шкуры и лишь потом подошел к костру.

Максим спал свернувшись клубком на земле, поджав ноги. Его седеющая щетина искрилась на солнце, будто каждая волосинка была тоненьким световодом, пропускающим через себя какой-то внутренний радостный свет. Он улыбался. Он плавал в своей улыбке.

– Ты был там? – поняла по его лицу Дина. – Ты постарел. Иди, помой руки. От тебя пахнет. Где Вермут? Он побежал к тебе. Не нашел?

– Нет.

– А где твои сапоги?

– Там.

Градька долго мыл руки, оттирал песком и травой. Воды снова прибыло, и теперь там, где они сидели утром с Максимом, половина берега была смыта напрочь. Доски на лаве всплыли, и Градька лишь удивлялся, как сумел по ним перейти назад.

Потом он сидел у костра, ел обветрившееся вчерашнее мясо, запивал чагой. От костра отстрелил уголек и упал на босую ногу.

– Шш-ш, – зашипел Градька.

– Может, возьмешь сапоги Максима?

– Малы.

Они молчали, пока Градька не доел свое мясо. Когда он доел, подлесок уже охватывал недоруб.

– Что будем делать? – спросила Дина.

– Ждать.

– А его?

– А его отнесу в вертолет и запру.

– Он не убежит?

– Убежит? Ну, сходи поищи веревку.

– Сам иди.

В зимовке творился бардак. Стол сдвинут, железная бочка-печка упала с кирпичей и валялась посреди пола, тут же лежала труба. Ничего подходящего Градька здесь не нашел,

но огляделся еще раз. Что здесь останется завтра? Холмик, курган, заросший багулой да молодой ольхой?

Но душа беспорядка не вынесла. Он поставил обратно на кирпичи железную бочку, сам не зная зачем приладил трубу, поднял лампу с еще плескавшейся в ней соляжкой и поставил наверх, на полавочник. Разбитое стекло лампы хрустело по всему полу. Нагнувшись, Градька увидел под столом мозговидный камень. Поднял и положил обратно на бочку. Щелкнул пальцем по тому месту, где полагалось быть лбу: «так-то, брат!»

Максим не проснулся, а только сильнее подтянул под себя костлявые ноги, пока Градька его стреноживал гнилым обрывком веревки.

Потом они долго и бездельно сидели, поглядывая то на подлесок, то на садящееся за горизонт солнце. Горизонт был затянут тучами, но не синими – а какими-то коричнево-черными, мшистыми, налитыми торфяной жижей.

– Мама у меня сильная, – завспоминала Дина. – Когда рожала меня, не кричала, врачи даже удивлялись. А когда уж совсем было немоготу, она открыла глаза и сказала: «Товарищи, вы меня извините, но, кажется, я умираю. Ну, что же, я прожила достойную жизнь». Потом она закрыла глаза и родила меня. Ну, а ты? Ты так о себе ничего и не скажешь?

– Было бы чего, – Градька развел руками, – Ничего не было. Что за жизнь?

– Был кефир.

Градька промолчал. Были Гена, Сано и Севолодко.

– Странно, – вздохнула она, – как мало прошлого остается в прошлом.

– Да нет. Прошрое только начинается...

Снова умолкли оба.

– Это правда? – нарушила она тишину.

– Что?

– Что он сказал об этом... – обвела головой вокруг, – о Селении, селяках...

– О Селении, да, – повторил тот же круг головою Градька. – А о вас не знаю.

– Смешно, если все не правда.

Градька промолчал. Дина продолжала:

– Выходили вот здесь на берег. Строили дома, жили. Рожали детей... Это правда, что они плавали на лодках из бересты?

– Да. В музее в райцентре одна такая лежит...

– А Дымковы по ту жили сторону или по эту?

– Не знаю.

– А, быть может, лес не хочет нас отпускать? А когда здесь жили последние люди?

– Давно. Говорят, последними оставались старик да бабка.

– Бездетные?

– Или уже без детей. Иначе бы кто-нибудь забрал...

– Тоже миргородские помещики...

– Почему? – не понял Градька.

– Максим говорил, вот поженимся, доживем до старости и будем жить как миргородские помещики. В старости все должны жить как помещики. А я не уверена, что хочу. Мне кажется, он бы меня называл какой-нибудь Парадигмой Константовной, а я его – Архетипом Менталитетовичем. Нет, я бы сошла с ума. В доме была бы всего лишь одна игрушка. И то – матрешка. Нет, не хочу. После нас должны оставаться дети, а не игрушки.

Градька смотрел на вырубку.

– Значит, сегодня? – вздохнула Дина, перехватив его взгляд.

– Или завтра утром. Не знаю, как поползет. Мне еще надо сбегать вверх по реке. Я засек расстояние. Если дойдет до просеки, значит, мы действительно в центре...

– В центре, – сказала Дина. – Максим всегда говорил, что в его одномерном мире центр находится всюду. Его надо лишь возбудить. Тогда любой предмет – это центр Вселенной. Камень, дерево, насекомое, рыба, зверь. Как в перенасыщенном энергией роста растворе... тут годится любая затравка. Даже человек. Эх, Максим Валерьянович, великая затравка Вселенной. Тсс, он проснулся!

Максим сидел, но делал попытки освободиться от пут:

– О, срослись! – искренне удивился он своим связанным ногам.

Потом ему захотелось есть, и он завертел вокруг головы, ища банку с червями. Потом вопросительно посмотрел на обоих. Дина отвернулась и ее опять чуть не вырвало. Максим скривился, как готовый заплакать ребенок, но потом его осенило и он сунул руку в штаны:

– Рыбка, клюй, рыбка, клюй, на большой собачий...

Градья взял Дину за плечи и направил в сторону избы.

– Сходи немного там подмети. Примета такая есть. На дорожку. Чтоб удача была. Да не бойся ты. На, возьми ружье. Я сейчас.

Дождавшись, когда она скроется в избе, он еще раз проверил веревку на ногах у Максима, и быстрым босым шажком почти побежал под берег. Оттуда поднялся на взгорок, отрезанный от избы кустарником. С этой точки он хорошо видел ползущий по вырубке лес, уже утопивший в себе недоруб, отсюда лучше всего просматривалась и просека. Там, в ее глубине, уже шевелились верхушки падающих от старости елок. Выходило, что так. Изба была в центре мира.

Рядом треснул сучок. Градья даже не понял, что это был выстрел.

– Он убежал! Его уже нет! Я лишь на минуту ушла, собрать спальники!.. – бежала навстречу Дина.

Градья бросился к костру:

– Развязался? – Но веревки нигде не видел. – А удочка его где?

– Я давно унесла за дом, бросила в кусты, – плакала Дина.

На траве нашлись следы волочения, на земле у самой воды – след от правой ладони. След от левой ладони был затерт скользящим по земле телом.

– Когда все это кончится, а? – чуть не заплакал он, сбросил китель и пошел в воду. Он проплыл по течению за шесть или семь поворотов, на каждом подолгу ныряя в темные родниковые омуты и хватая руками коряги. Поднимаемая со дна муть не давала продвигаться быстрее.

Под водой уже была почти ночь. Градья уцепился за ивовый куст лишь тогда, когда понял, еще секунда – и дальше он поплывет уже сам, как притопленное бревно. Подтянулся и, дрожа до лязга зубов, вытащился на берег. Он долго не мог успокоить раздражаемое дыханием грудь. «Всех – вас!» «Всех – вас!», кричало в нем на каждом выдохе-вдохе.

Коричнево-черные тучи нависали со всех сторон над Селением, и стало уже так темно, что даже лес на том берегу, всего теперь метрах в двухстах от воды, был едва виден. Градья подобрал китель, дошел до костра, упал на колени над белой золой, положил ладонь. Ударил по золе кулаком, и, окутанный белой пылью, бил по кострищу до тех пор, пока не закашлялся. Потом откатился в сторону и встал на колени.

– Дина! Дина!

Вокруг была тишина.

Он дошел до дверей зимовки, но те были заперты изнутри. И та же тишина за ними.

– Дина, ты здесь? Это я, открой.

За дверью молчали.

– Дина! Это я. Открывай. Что? Что? Еще раз.

Он прислушался, потом привалился спиной к дверям.

– Это я. Градислав. Не Максим, не Максим, я не из реки. Меня зовут Градислав. Кто? Да никто! Градислав. Градислав Щепкин. Бывший студент, бывший солдат, бывший кто еще, бывший кем-то кому-то, сейчас никто. Дина, Дина, ты слышишь меня? Теперь ты веришь, что я не Максим? Да, я смотрел, я прошелся вниз по реке. Ну, конечно, вниз. Что? Ты ошалела. Дина, ты ошалела. Хотя я не знаю. Конечно, если он рыба, он мог уплыть вверх. Но я не додумался. Все равно ты должна открыть дверь. Ты прозевала костер. Он потух. Мне надо спички. Они лежат на полавочнике.

Лязгнул засов, и дверь подалась.

– Аа-а-а-а!

Темнота, и в ней оглушительный вопль. Еще более оглушительный грохот. Опять снеслась с кирпичей железная печка, стукнул о пол упавший камень-кремень, загремела жестяная труба.

Еще долго после того, как он отряхнул себя от золы, вытер лицо и перестал быть пугающим белым призраком, Градька сидел на пороге, подперев кулаком щеку.

– Ты бойся, Дина, ты бойся. Я твоя смерть. Только можно я встану, мне спички надо, костер погас. Они лежат там, на полавочнике, в целлофане. Там же стоит и лампа с соляркой. Не надо «сама»! Лучше разреши мне. Там всего две спички. Ну, ладно. Ну, хорошо, я Максим, я утопленник, я весь белый, потому что утопленники все белые. Пришел сюда на связанных ногах. Только дай мне взять спички и зажечь лампу. Сама не надо. Не трогай. Там осталось всего две спички. Дай мне, я говорю!

Чиркнуло. Зимовка на миг осветилась, и снова стало темно.

– Последняя, спичка, Дина, – спокойно проговорил Градька. – Теперь у нас одна спичка. Положи коробок на стол. Положила? Отойди от стола. Отошла?

Через минуту лампа горела. Градька укоротил фитиль, потом поднял лампу над головой.

– Забирай спальники и пошли.

Пламя он загораживал зачем-то рукой, хотя, как всегда, в воздухе не было ни единого дуновения. Возле подклета остановился.

– Погоди, я сейчас.

– Я с тобой.

– Дак лезь.

Она честно полезла за ним в подклет, и поэтому он доверил ей банку с мухоморовым зельем.

– Но если прольешь, лучше сразу пойд и утопись с ним рядом.

Возле костра, посветив лампой, он высмотрел чайник и пошел за водой. Была уже полная ночь.

– Я к реке не пойду, – быстро проговорила Дина.

– Не ходи. Стой здесь.

– Я с тобой.

Коптящее красное пламя мешало увидеть лес, но Градька особо не всматривался. Он спустился к воде, поставил на берег лампу, набрал полный чайник воды. Потом снял китель, встряхнул. Умылся.

А что если Максим в самом деле не утонул, а плывет сейчас вверх по реке? Или стоит здесь под берегом? А теперь подплывает – как рыба на свет?..

Он выскочил наверх, едва не затушив лампу.

– Пошли.

В глубину вертолета они пробирались долго и осторожно, через кабину, боясь расплескать варево, уронить чайник или лампу. Потом Градька забаррикадировал дверь в кабину, а свисающую с полотка дверцу подпер заранее приготовленной палкой. Усадил Дину. Та

смотрела на него сверкающими от лампы глазами. Он отодвинул лампу подальше, взял мухоморную банку, понюхал – проще умереть сразу.

Он повернулся к ней.

– А мы не умрем? – спросила она. – Мы умрем?

– А что лучше?

– Лучше если бы не. Если бы мы не умерли.

– Лучше, если бы никто. Мы не лучшие. Мелкими глотками. Глоток ты, глоток – я.

В чайнике вода запивать. Садись.

Она села. Он сел рядом. Он подал ей банку. Она взяла. Он держал наготове чайник. Носиком к ней.

– Глоток, – сказал он.

– Вода из реки? – спросила она.

– А откуда еще?

– Я не буду.

– Это почему?

– Максим, – сказала она и вернула банку.

– Что Максим?

– В ней Максим.

– Фу ты. Здесь утренняя вода, – Градька снова подал ей банку. – А он только в чайнике.

Из чайника можешь не запивать.

– Не могу, – сказала, понюхав, и снова вернула банку. – Я всегда запиваю.

– Это не водка.

– Тогда ты первый.

Градька сделал глоток и запил водою из чайника. Во рту остался вкус прелого сена и невымоченных груздей.

– Ну, – потребовал он.

Она приложила банку к губам и вновь не смогла.

– А если бы зажевать?..

– Черт! – охнул он, испугав ее. – Забыл валерьянов корень!

– Что? Валерьянов? Корень!

Она неожиданно прыснула и разжала руки. Градька едва успел поймать банку, часть жидкости расплескалась.

– У нас в институте – все еще прыская, объяснила она, – на Максима другие ругались: «У, валерьянов корень!» И еще у нас, у девчонок, было выражение: «извлечь валерьянов корень». Почему-то все считали, что он бабник и чтобы получить зачет, надо было извлечь у него валерьянов корень. А корня-то у него всего...

Она посерьезнела и положила руку на молнию его брюк.

– Пей, – потребовал он. Взял ее руку, развернул ладонь вверх и вложил в ладонь банку.

– Все равно я уже испорченная, – вдруг сказала она и, медленно выдохнув, сделала длинный тонкий глоток, как пьют что-нибудь горячее, сложенными в трубочку губами.

Банку она поставила по другую от себя сторону и всем телом развернулась к нему.

Больше ее было не остановить.

Он отводил от себя ее руки, потом заломил одну руку ей за спину. Вывернул в запястье. Отпустил. Снова вывернул. И вдруг сам вздулся, взбугрился, продернулся колкой дрожью, еще секунду боролся с собой, потом чирикнули на рубашке пуговицы, разлетелась на штанах молния.

– Нет-нет! Постой! Не так! Не... – кричала она, стучаясь головой о доски. Вертолет ходил ходуном. – Ма-а! Мама! Аа! – она схватила его за бороду и тянула ту изо всех сил вверх, пытаясь отодрать его от себя. Потом рука ослабла.

– На-а! – извергался он, страшно пуча глаза, хрипя, и вновь извергался. Мгновение он снова лежал, давя ее тело, чувствуя, как из нее вытекает обратно, и – снова, с хрипом и выпученно.

Потом в ней что-то проснулось, двойная агония подкинула оба тела в воздух. Лампа, упав, погасла.

Ее руки сплетались и расплетались за его спиной, хватали и дергали за длинный твердый кулдук-косицу, и снова на шее стало мокро и липко. Она откликнулась во второй раз и в третий.

– Я все, я все, – и хватала ртом воздух. – Я больше не могу. Я уста... Ну хватит! Уйди.

Он не уходил. Он таскал ее по доскам с места на место меж своих двух ног и одной руки, а другой рукой – держал под собой на весу. Как собака – зайца. Бросал, где больше не мог сдержаться, рушился сверху, и прошибал-прогибал своей головой дюралевый борт.

Потом отполз от нее подальше, прижимаясь к холодному дюралю лицом, плечом, руками, а мог бы – и грудью.

Она спала.

В темноте он не мог найти спальник, но наткнулся на что-то мягкое – шкуры. Он накрыл ее голубой волчицей, бросил на ноги Вермута. Потом принялся. Пахло мухомором. Нащупав разбитую банку, собрал осколки, и, опустив боковую дверцу, выбросил стекла наружу. Сверху хлынуло черным холодом. Он нашел штаны, накинул китель и выбрался наверх.

Во тьме и где-то совсем уже близко – шумело. Лес был рядом, но сам кустарник еще стоял, как стоял – недвижно и мертво. В узком колодце чистого неба над вертолетом по-прежнему мелко-кругло дырявились звезды. Воздух был недвижим.

Градья вздохнул и спустился внутрь вертолета. Сел. Поскреб бороду. Потом лег на доски, закрыл глаза. В правый бок что-то толкало. Он перекатился на спину, ощупал доски, потом сунул руку в карман и вытащил скользкий обмылок. Лизнул. Кусок лизунца. Вспомнил о лосихе с лосенком. Подумал о складе каменной соли в подклете. Жаль, подумал, не перенес сюда, а то потом ведь раскапывай...

Снова лег и снова что-то мешало. Он выудил из кармана брюк крохотный сколок кремня. Тот самый сколок кремня, который давно, «еще в прошлом», как отметилось про себя, подобрал на реке, над каменным перекатом, где ловил хариусов. Сколок, похожий на кремневый наконечник стрелы, какие держат в музеях.

Он понял, что совсем ничего не продумал. Ведь мог бы набрать кремней и больше, нараскалывать и наделать заранее наконечников. Там было их много, на перекасте. А если найти покрупнее – можно сделать копье, нож, топор. И огонь выбить – тоже. Сейчас бы еще один кремешек, и можно бы нащипать из спальника ваты и попробовать зажечь лампу.

– А кремень-то, кремень? – мысль пришла вслух и так громко, что Дина проснулась, что-то пробормотала, но Градья ее не слышал.

Он на ощупь выбрался из вертолета, нашел тропинку через кусты, пробежал по траве к избе, налетел на валун у кострища, расшиб ногу, взвыл, поскакал на одной. В зимовке он долго не мог нашарить валявшийся на полу камень. Нашарил. А попутно нащупал и что-то еще. Под лавкой оказался рюкзак. Тот самый, Максимов, синтетический, из которого был вытащен шнур. Одежду и рыболовные принадлежности он не трогал. Вытащил лишь тетрадь и на ощупь определил: большая, толстая и потрепанная. Половина листов вываливалась. Он забросил ее обратно в рюкзак. И следом как высшую ценность опустил туда же и тяжелый причудливой формы камень.

Выбравшись из зимовки, Градья заторопился. Лес не надо было высматривать – даже при свете звезд было видно, что подлесок уже по этой стороне берега. Надо было спешить. Пробегая мимо кострища, он опять налетел в темноте на валун. Взревев от обиды и боли, он

ударил по валуну рюкзаком. Камень выскользнул и укатился в траву. Градька уже не помнил себя. Схватил, поднял камень над головой и трахнул им о валун!

Сверкнуло такой искрой, и с таким треском рассыпалось это бугристое кварцево-халцедоновое создание, что Градька ослеп и оглох. Все, что он понял, так это то, что вокруг его много кремня, и, упав на колени, он стал спешно шарить в траве, собирая осколки, и рука его определяла сама, что может быть наконечником для стрелы, а что – для копья, и сама кидала в рюкзак. Кремни стукались в рюкзаке друг о друга – только искры и треск! Градька лишь пригибался, не понимая откуда и что идет, продолжая шарить вокруг, а потом подхватил рюкзак и понесся через кусты к вертолету, забросил рюкзак вовнутрь – снова искры и треск! – вкатился в дюралевую утробу сам, упал на доски. Снаружи возник ослепительный свет, пронзивший весь вертолет сотней тонких и толстых лучей.

Дина спала, оттолкнув ногой Вермута и вся уместившись под волчицей.

Гром вернул темноту.

Потом напористо прошумело. Потом все стихло. И стукнуло. И застучало по тонким листам дюраля все громче и громче. Все гулче и все дробнее. И вдруг, разом, обрушился водопад. В открытый люк хлестало, как в пробоину корабля.

Градька дождал до верха болтающуюся дверцу и приткнул ее палкой. Потом опустился спиной на доски и подставил лицо залетающим внутрь мелким брызгам дождя.

Ливень шел бесконечно. Вертолет качало, баюкало.

Грома они не слышали. Молнии освещали их спящими.

## Маугли-фактор (повесть)

### 1

Это был Ромка, Роман, брат Роман, который сказал, что она «типичная маугли». Конечно, к тому моменту у меня самого, так сказать, накопилась некоторая сумма наблюдений и выводов, но они еще мало что объясняли. Все равно начинать я должен издалека. И совсем с другой женщины.

Ее звали Геля. Мы познакомились на выставке модной в начале девяностых годов обнаженной натуры. Туда после пятничной бани меня потащил Виталик, самый шумный и самый толстый фотограф нашего журнала. Он тоже там выставлялся и бил себя в грудь, что после официоза всем будет.

Но я подошел к ней еще до пьянки, и даже не к ней, а к ее фотографии, и даже не к фотографии – к подписи под ней: «ОБНАЖЕННАЯ. АНГЕЛИНА КУКУШКИНА». На фотографии было что-то белое, что-то черное, но после недораздетых девиц Виталика, которых он снимал во всех ракурсах, эта черно-белая голость все равно казалось какой-то прикрытой, одетой, даже задрапированной, даже наглухо спрятанной от досужих глаз, как белое тело монахини. Я так и сказал Виталику.

– Анжела, – заорал тот через весь зал, – подь! Тебя тут сочли монахиней!

– Дурак, – сказал я.

– Ты тоже умный, – ответил Виталик, толкая меня навстречу действительно подошедшей девушке, в меру худой и в меру брюнетке. – Познакомься, Анжел. Это Слава Мартинес, незаконнорожденный сын кубинского атташе. В фотографии ни черта не смыслит, но мастер снимать молодых и симпатичных фотографш-ш... – Он сделал особо гнусный упор на слове «снимать».

Всю следующую минуту, тупо глядя на фотографию, но глубокомысленно прижимая и отжимая от губ большой палец правой руки, я силился оправдаться в глазах «фотографши»:

– Ну-у, в вашем решении есть что-то от дзен-буддизма.

– От воз-буддизма, – не позволил уйти от темы Виталик.

Я перевел глаза на девушку и попытался представить ее чуть больше недораздетой, но она только хмыкнула и понимающим жестом руки отсекала мой взгляд от себя:

– Это моя сестра, – сказала она, и нужно было еще догадаться, что речь шла о фотографии. – Так вы журналист? – После этого повернулась к Виталику. – Не люблю журналистов.

– Проходу не дают, гады? – подыграл тот.

– По-моему, журналистика это родное дитя двух самых первых профессий. Проституции и шпионажа, – объяснила она Виталику. И больше уже не поворачивалась ко мне. А только улыбнулась через плечо. А улыбнувшись, ушла.

Неудивительно, что я за ней пошел. Да, я шел за ней, как Раскольников за мещанином, бросившем «убийвец». И поэтому хорошо ее рассмотрел: японский разлет очков, грациные крылья волос, немного не по размеру нос, который будто клевал всякий раз, когда она открывала рот. Правда, про нос я отметил уже потом, на банкете, сидя от нее сбоку.

– Курите? – предложил сигарету, чтоб пережить самый первый, мучительный, открывающий пьянку спич.

– Нет.

– Выпьете?

– Нет.

Но на каждое «нет» носик ее кивал утвердительно. Вроде и верхняя губка ее не была короткой, и уж никак не приросшей к срединному носовому хрящiku, а вот поди ж ты!

Ночь дожимали мы уже у нее, на окраине города. Однокомнатная квартира имела большую лоджию, соединяющую комнату с кухней. По лоджии мы с Виталиком и бродили. Всю ночь разворачивались над домом пузатые, с мигающей бородавкой на брюхе лайнеры, заходя друг за другом на Домодедово.

Потом еще много раз, прилетая с Виталиком на Домодедово и зависая над краем Москвы, кто-нибудь из нас непременно высматривал этот дом и двигал другого локтем. «Пролетая над гнездом Кукушкиной», – однажды грустно выразился Виталик, а потом улетел с Шереметьева насовсем, сказав, что совсем и не собирался. А в «гнездо Кукушкиной» неожиданно упал я. Хотя и не с самолета, но с домодедовской электрички.

Правду, видимо, говорят, что женщина любит, когда привыкнет, мужчина – пока не привыкнет.

Я все никак не мог к ней привыкнуть. Не мог привыкнуть лежать на двуспальной кровати под синтетическим одеялом размеров Таймырской тундры. Не мог привыкнуть к тому, как странно она держала перед собой руки, когда отдавалась. Не то словно думая оттолкнуть, не то... как дети играют «в ладошки», и вроде бы обижалась, когда понимала, что это не игра. Но всегда после этого она произносила «в гаражик» и въезжала всем телом в угол меж моим животом и коленями, точно как машина в гараж. И засыпала мгновенно.

Точно так же заснула она и в тот вечер.

Мне же пришлось вставать. Утром надо было сдавать материал. На кухне стояла финская швейная машинка, замечательная, с ножным приводом, и на ней я держал свою пишущую машинку. Мне всегда замечательно думалось и печаталось, когда я качал ногам подножку. Колесо крутилось, шуршал сброшенный ремень, подножка славно постукивала.

Рассвет запаздывал. Тяготный, совсем не летний, нудный, обложной дождь наглухо прикрыл город. Почему-то казалось: придет рассвет, придет и концовка статьи. А та все не шла.

Дождаясь рассвета, я вышел на лоджию. Косо моросил дождь. Ветер, пронесшись внизу по деревьям и фонарям, делал свечу и легким порывом задувал на лоджи...

...ю распутицу, и шофера, поставив на прикол лесовозы, уходили на сплав. Моторками их доставляли на нижний склад, откуда они с баграми в руках спускались по оба берега, зачищая их от оставшихся на кустах в заводях бревен. Это называлось «идти с хвостом». Рядом плыла «караванка», внушительный плот с дощатым настилом, на котором стоял такой же дощатый сарай, разделенный на две половины – кухню и столовую.

Нам повезло, мы застали их за обедом. Катер отца, небольшой, сплавной, водометный, зашел чуть выше и бросил якорь. Течением бросило его на борт «караванки», и жирно-смоленные лодки-долбленки заходили под берегом, как черные икраные щуки.

– Вы чео, очумелые, щи, оно, расплескали! – запричитала в окно повариха. – Семеныч, ты чего, ты чего пьяный?

Отец облокотился о леер:

– Здорово, Фаина! Давай сюда мужиков, опять затор под Устинихой. Бревен больно много набило, трактор ходит пешком на тот берег. Вчера аммонитом рвали, пол-Устинихи бревнами позасыпало...

– Дак поишь! И мотористу сейчас подам.

– Моториста, Фаина, списал в Устинихе.

– А чевой-то так?

– Кашляет – мотора не слышу. А это у меня Лешка, пацан мой, взял себе на голову, второй день вожу, домой никак не заброшу.

– Ой-да! Каникулы ведь! А мой-то дурак опять двоек наташил – рука отстала пороть. Я вылез из рубки, на холод, на ветер, сильно дующий снизу вдоль по сырой реке.

– Здрасьте.

Повариха исчезла и через минуту уже подавала на борт две миски щей, две кружки чая и ломти кислого, на пивных дрожжах, деревенского хлеба, которого напекали в той ближайшей из деревень, куда поварих отвозили на ночь. Мужики порой, по погоде, ночевали прямо на караванке, добела раскаляя железную печь. Сейчас они выходили на воздух и перебирались на катер, на ходу ковыряясь спичкой в зубах и от нее же потом осторожно закуривая.

– Здорово, Семеныч, нелегкая тебя принесла!

Они ворчали, но не особо сердито, по-сытому, хотя ночь предстояла бессонная, растаскивать придется до утра, зато уже завтра они будут спать в хорошо натопленных избах.

Катер забрал всю бригаду, а потому сидел очень низко. Он шел, зарываясь носом в волну, вниз по течению и против сильного ветра. Вода, проносясь навстречу по палубе, высоко заплескивала на стекла. «Дворники» соскребали пучки прошлогодней травы, черные прелые листья, ветки, кору и бурюю земляную пену.

Рубка была рассчитана лишь трёх-четырёх пассажиров, для них имелся диванчик, но сейчас мужиков набилось больше десятка. В тесноте было трудно пошевелиться, и они завистливо поглядывали на пустое высокое кресло капитана. Отец не сидел, он стоял. Крутя штурвал, он сильно подавался вперед, смотрел вперед неотрывно и напряженно. Обычно катер скакал по плавучим бревнам, не замечая их вовсе, лишь вздрагивал от ударов по корпусу, но сейчас любое бревно могло составить нам в рубке компанию.

Была уже ночь, когда река снова начала разливаться по пойме, выходя на уровень половодья: впереди был затор. Катер свернул с фарватера-русла и пошел напрямую по наволокам, по староречьям, через кусты, что визгливо скрипели по оба борта и еще долго тряслись в водометной струе за кормой. От скрипа, ударов днищем о землю сомлевшие в тепле мужики начали просыпаться, подниматься с колен друг у друга, с корточек и курить. Отец предупредительно кашлянул. Он все также подавался вперед, смотрел в сквозящую ветром и дождем мглу, туда, куда свет фары еще не мог дотянуться, и лишь, когда на далеком холме, над мыском, блеснул огонек Устинихи, отлип от стекла, слегка увеличил газ и проворчал себе за спину:

– Да хоть откройте вы дверь, кочегарские ваши души!

Наклонную дверцу толкнули, но она вновь захлопнулась, отсекая холод и утробное хрюканье дизеля.

Отец обернулся.

– Напрочь откройте! Лешка!

Сквозь толчею фуфаяк я пробрался к ступенькам, повернул ручку и толкнул над головой дверь, отжал ее от себя. Осталось только подняться, встать на высокий тонкий порожек и прищелкнуть дверь на специальный зажим возле мачты.

Ветер ударил меня в затылок с такой неожиданной силой, что я потерял равновесие и, выкинув назад ногу, кого-то ненароком задел. Замер. Внизу раздался одинокий вдумчивый мат, потом – общий хохот. Из-за этого я не сразу полез обратно, а еще посмотрел поверх рубки на сходящиеся над рекою холмы, куда теперь выворачивал катер – навстречу высоко гулявшим волнам с золотисто-белыми гребешками...

– Закрой, холодно, – закричали снизу.

Я нагнулся, одновременно переноса ногу через порожек, и в этот момент увидел, как отец со всего маху ударился головой в ветровое стекло. Я влетел отцу в спину. Катер будто споткнулся и придавленно клюнул носом. Уже в общей куче-мале, но поверх ее, я хорошо видел, как черная полоса воды, отороченная тонкой золотистой каемкой, стремительно шла по стеклам вверх, и чем выше она поднималась и чем шире становилась золотая кайма, тем

острей и напористей сквозь дырки по краям окон били острые водяные струи. Это было как душ Шарко. И лишь потом послышалась плескотня потекшей через порог реки.

Второе бревно ударило уже в крышу рубки, снеся фару и свернув мачту с топовым фонарем. Корма задралась, водомет выбрасывал в небо гудящий, пронзительно гладкий от скорости столб реактивной струи, и его сила толкала катер все глубже и глубже под воду.

В рубке стояла черная темнота, и только на миг чье-то тело открыло зеленый полумесяц прибора, тускло блеснувший из-под воды. Кто-то захлебисто выл, кто-то, барахтаясь на спине, колотил сапогом в стекло, но главная масса тел приступом шла на дверь, встречь врывающейся реке.

Я нашел отца по его руке, всплывшей в сторону ручки газа, и этот тоскливый жест метнул меня убрать газ, потом, по какой-то вспышке наития, переложить рычаг реверса и вновь толкнуть ручку газа до упора вперед. Но отца уже затащило под кресло, у меня не хватало сил его вытянуть, выдернуть, вывернуть, а когда, наконец, удалось, и уже на разрыве легких я стал выгребать наверх, голова ударилась в потолок...

— ...ок насквозь! Ты стоял под дождем? Ты сошел с ума! Ярослав! Что за детство такое!

На «детство» я среагировал:

— Геля?

Она не слушала, психовала, вытащила меня с лоджии и затолкнула под горячий душ. Потом курила на кухне, посекундно сбивала надменным пальчиком ничтожные шелушинки пепла в титановую австрийскую мойку, косилась, хмыкала, слушала, пожимала плечами и снова хмыкала.

— Ты сумасшедший, Мартинес, — сказала она в итоге.

— Я не Мартинес, Геля. Моя фамилия Мартынов. Но это было со мной. Не как будто, а... То есть не как будто бы с кем-то, а...

— Я не верю, — холодно сказала она.

— У меня такое бывало...

— Бред.

И оттого что она так сказала, в груди тоже стало холодно, будто там расчистилось место, появилось пустое пространство, и оттуда потянуло далеким чужим сквозняком.

Тут можно говорить, что угодно, и выдвигать любые гипотезы. К счастью, мозг сумел защититься, и в тот раз я просто уснул. А когда проснулся, Геля уже ушла на работу. И это было прекрасно. Настолько прекрасно, что во всем случившемся ночью я действительно видел только сон. Летний сон под дождем. А подробностей не помнил и вовсе. Что называется, заспал.

В десять я позвонил в редакцию. Секретарша главного подтвердила, что редколлегия как всегда в двенадцать, и напомнила: главный оторвет голову, если не принесу материал.

Я уже не искал концовку статьи, вклеил первую подходящую фразу о коммунальной кухне большой мировой политики, где Американская мечта вконец затуркала Русскую идею и только-только не плюет ей в кастрюлю; на том плюнул и на статью. В конце концов, политика — не мой профиль, зато лягательный рефлекс на Америку потихоньку поощряет и сам главный. Его понять можно: б; льшая часть тиража все равно отправляется во Вьетнам и на Кубу. Советского Союза уже не было, но его одноименный журнал еще жил полноценным подобием жизни.

Пропустив два автобуса, я еле втиснулся в третий.

## 2

Ампиный фасад недавно покрашенного особняка, дубовый парадный вход, мраморная, покрытая ковром лестница, ведущая от порога в прихожую, бабуся-вахтер, больше похожая на консьержку, старинный паркет, и другая такая же лестница, уводящая выше, на бельэтаж, со скульптурой пастушки на высокой мраморной тумбе, с которой эта девушка взлетала, как мраморный мотылек, хотя в ее жизелевском жесте печально не хватало мизинца, – все это заставляло убавить шаг, принять должный вид, и к высоченным дворцовым резным дверям кабинета Главного подойти человеком средне-высоких стандартов по части ответственности и пунктуальности.

Секретарша Надюша, тургеневская девушка в бальзаковском возрасте, укоризненно покрутила в руках карандаш.

Немая сцена, пока я показывал ей на свои часы, в ответ на сокрушенное качание головой, была прервана густым рыком из-за двери, распаиванием оной и толчеей выпускаемых редакционных тел. Главный редактор замкнул процессию как печать. Это его манера: провожать членов редколлегии до порога, через который его величавое тело продавливалось не чаще, чем утром раз и раз вечером. «Слушай, – в былые дни приставал к Надюше Виталик. – Ты ему кофе носишь каждые пять минут, но когда выносишь горшок?»

– Мартынофф-ф!!! – в небесах потолка задрожала хрустальная люстра: – Зайди.

Обтирая грудью начальственный живот, я протиснулся в апартамент главного, где всегда ощущал какую-то неуютность, наверное, в силу незавершенности интерьера. Вот, если бы вместо стола редколлегии здесь стояла кровать с балдахинем, или, скажем, в утробе камина крутился на вертеле королевский олень, тогда да. Но в мире не существует иной гармонии, кроме гармонии противоречий. Пример такой – сам журнал. Кому-то он мог бы напоминать заброшенный деревенский пруд, с камышами и ряской, но и с приличными в нем карасями. Нас теперь, правда, осталось мало – переживших в глубоком иле все те реформы, что мелким бреднем ходили над нашими головами. Временами кого-то утягивало наверх, но кто-то плюхался и обратно.

Сейчас за столом редколлегии одиноко сидел Виталик.

Он шумно поднялся и протянул руку. В лучшие свои годы сам Горохов сильно напоминал Главного, центнер живого веса, но сейчас был заметно стройнее. Сразу видно, человек наголодался в европах. Я молча пожал Виталику руку и для проверки долбанул его кулаком в плечо.

– Гад! – узнаваемо простонал Виталик.

Главный уже добрался до своего стола, водрузился на трон и, все еще недовольно косясь на меня, нажал кнопку:

– Надя, кофе и бутерброды.

– На троих? – послышался электронный голос бесхитростной Нади.

Виталик тем временем продолжал объясняться перед начальством.

– ... А что? Вольный дух веет, где хочет. Но мне в Германии вредно жить, пиво – не еда, а живот растет. Во Франции отпаивался вином, хотя у меня от него понос. А вот это из Греции, – сказал он, поднимая с пола свой старый пошарпанный кофр. – Презент вам, Сан-Саных.

Виталик издала показал бутылку метаксы, но поставил перед собой.

– Чтобы ты да доvez? – буркнул Главный. – Небось купил вон, в ларьке, – он кивнул на окно.

– Христом Богом... – заволновался Виталик, но тут раздался стук в дверь, и Надя внесла кофе и бутерброды, на которые, верно, ушло не меньше батона хлеба и кило ветчины.

Кофе она тут же вылила в медный кувшинчик с арабской вязью, куда Главный обычно сливал недопитый или остывший, а бутерброды разложила перед Виталиком. Затем подошла к потайному бару, достала три стопки и дежурную шоколадку, потом сощурилась на зенитный снаряд бутылки, заменила стопки на рюмки, а когда вышла, то можно было не сомневаться, что границы Родины на замке.

– Ты ладно, Горохов, не очень тут мне... шустри, – дубинкою пальца погрозил Главный Виталику. – А ты, Мартынов, давай, что принес.

Я молча протянул материал. Дочитав до конца, Главный вычеркнул последний абзац, посмотрел на часы и стал крутить телефон. Пока он говорил в трубку, Виталик разлил метаксу, взял одну рюмку, чокнулся ей с двумя другими, перенес ее на стол Главного и поставил ближе к правой его руке. Главный отогнул палец, подцепил рюмку, поднес ее к микрофону трубки и хорошо отхлебнул. Мы солидаризировались.

– Ну что, Виталя? – съехидничал я, – Блудный сын к отцу пришел?..

– Угу, – бормотнул Виталик с набитым ртом.

Даже при его нынешней комплектации зада и живота было очень непросто увидеть в Горохове того бывшего лейтенанта морской пехоты, каким Виталик служил на Кубе. Правда, он клялся на своих фотографиях, что именно там, на Острове Свободы, и подхватил свою слоновью болезнь, хотя я уверен, уже тогда он был большим фотомастером и мог любому откормленному слону обеспечить осиную талию. Кроме еды, во всех ее проявлениях, Виталик больше всего ценил свою маму, которая даже в те, советские времена умудрялась летать на Кубу военно-транспортной авиацией, держа на коленях судки с московской стряпней. Те, кто слышали песню «Куба – любовь моя» в исполнении накормленного Виталика, не могут не признать, что социализм имел свою красоту. Кстати, это ведь он осчастливил меня псевдонимом «Слава Мартинес», над который сам же и издевался. Часто в незнакомых компаниях он спешил отрекомендовать меня как Славу Мартини, а однажды в обществе Славы Зайцева всем показывал пальцем: «А вон это ходит Слава Лисиц!» Блондинкам он представлял меня как родного сына кубинского атташе по культуре, брюнеткам – как тоже сына, но незаконнорожденного. Это, наверное, потому, что вид худых и костлявых брюнеток (чем костлявей – тем лучше) ввергал его в экстатическую дрожь.

Сходив и повторно налив рюмку Главному, Виталик вернулся и наполнил две наши.

– Анжелу давно не видел? – спросил он грустно.

– Гелю? С утра.

– Гад, – утвердился в печали Виталик и наполнил греческой жидкостью рот.

Главный, наконец, положил трубку, но телефон будто этого ждал и тут же залился прерывистым междугородным звонком. Главный говорил долго, еще дольше молчал, но кивнул только пару раз – наливающей Виталиковой руке. Надо сказать, эти два человека вполне могли быть отцом и сыном. И неважно, что Виталик был лысоват, вернее, пушист на темени, а шевелюра главного напоминала шкуру перезимовавшего овцебыка. Правда, Главный был заслуженный холостяк, драматург и к тому же мастит. И этим вызывал к себе огромное уважение. Мы дождались момента, когда он отвел от красного уха трубку и, пренебрегши тонким коньячным одёнком на дне греческой бутылки, полез рукою за свое кресло и достал початую водку.

Потом мы с Виталиком поднимались ко мне.

С бельэтажа уходила наверх витая чугунная лестница. На втором этаже уже не имелось анфилады дворцовых комнат, он весь был отдан на откуп коммерческим фирмам и заполнен девами в белых блузках и черных юбках, (реже – той же цветовой гаммы – мужиками). Но нам было нужно выше, и мы ступили на деревянную лестницу.

Третий и последний этаж имел столь низкие потолки, что когда-то Виталик доставал их в прыжке ногой, демонстрируя скептикам, что действительно был морпехом. При всей своей

полноте, он бывал и легким, и быстрым. «Горошина покатила», – говорили о нем, когда он пухлою молнией слетал по ступенькам вниз, с третьего этажа в подвал, в свою фотолабораторию. Так мы раньше и жили: он внизу, подсвеченный преисподним светом красного фонаря, а я небожительствовавший под крышей.

Раньше в редакции был огромный штат. В монастырских кельюшках последнего этажа умещались массы сотрудников, но сейчас, после всех сокращений и небольшого пожара, я практически обитал один. Здесь, в кабинете с эркером, наполовину застекленном фанерой, с зеленой, плохо держащейся на потолке штукатуркой, я принимал гостей.

– Пускай не на уровне... – извинялся я.

– Зато на высоте, – отвечали деликатные гости.

Но сейчас Виталик не очень-то принимался. Он то и дело сыпался вниз, тормоша завхоза Толика, чтобы тот поскорей нашел ключ от его прежней фотолаборатории или сменил замок. Он весь извелся, пока я спешно доделывал подправленную Главным статью. «Компьютер, – стонал Виталик, – компьютер», – увидев, как я справляюсь с ножницами и клеем. Он еще не успел проникнуться той здоровой логикой Главного, что, при наших нескольких номерах в год, лучше кормить живую, с божьей душой, машинистку, чем империалистов из IBM вкупе с «Майкрософт». Еще немного для приличия покричав, Виталик наконец согласился, что Главный был всегда человек, и скатился вниз убивать завхоза.

Когда я спустился по деревянной, чугунной и мраморной лестницам вниз, завхоз Толик молча стучал стамеской, вставляя новый замок.

– Да, – проговорил Виталик, вдоволь насытив зрение разворованным видом своей некогда богатой фотолаборатории.

– У! – и ребром ладони замахнулся на шею Толика.

– Эх! – и повесил на плечо кофр.

– Гм... – и, достав из кармана, пересчитал деньги.

Наконец, он выразился сложнее:

– В Домжур! – и, ткнув пред собой ладонью-топориком, задал ногам направление.

### 3

На третий день было воскресенье, и под пение местной птички за небольшим квадратным окном, крест-накрест забранным ржавым полосовым железом, весь день валяясь на плотно сколоченных и многожды крашенных густотертою охрой нарах тихого и уютного КПЗ одного северного городка, мы могли сотню раз вспомнить и перевспомнить все, что касалось последних трех дней нашей жизни.

Впрочем, легко сказать, вспомнить все, если начинать приходится с той початой водки, за которой Главный нагружал нас новым редакционным заданием.

«Вы видите, как живет народ? – громово восклицал он. – Плохо живет народ! Короче, езжайте в командировку, возьмите город, какой-нибудь городок, но чтобы не слишком далеко и не очень дорого для журнала. Не дальше Урала! Отдаю вам этот город на разграбление! На три дня, на неделю, на десять дней! Но пусть это будут „Десять дней, которые потрясли мир“ или „Россия во мгле“, нет, „в дерьме“. Но ты, Мартынов, пиши как на Пулицеровскую премию, а ты, Горохов, снимай как для „Нэшнл Географик“! Выверните городок наизнанку, пытайте людей, четвертуйте власти, вздергивайте на дыбу всякого, кто не изольет душу, ловите бабок по деревням, гоняйтесь за бандитами, вламывайтесь в дома местных интеллигентов, штурмуйте школы, больницы, роддомы! Даю вам восемь полос, нет, десять, двенадцать! Сделайте мне журнал в журнале, книгу в журнале, эпоху в журнале! И чтобы без всяких газетных воплей, никакой публицистики, одна физиология жизни! Иначе я разорву наш журнал и заставлю тебя, Горохов, подтереть одной его половинкой твою толстую, а другой половинкой, Мартынов, твою узкую!..»

Чисто моя вина, что исследовать этот городок мы начали из-за решетки местного СИЗО. Во-первых, это меня приняли по обличью за арабского террориста. Потому что это ведь мной попользовался Виталик, уломав везти его тело в командировку на белом заморском джипе моего брата, а в дороге отвалился глушитель, так что за несколько верст вперед тихий Русский Север уже сильно подозревал о неминуемом приближении, ну, как минимум, колонны армейских «камазов» во главе с очередным Шамилем, уведенным шайтаном на тысячу километров севернее Кавказа; и потом это мне с белой пеной у рта приходилось доказывать, что найденный в инструментах газовый пистолет с отломанным спусковым крючком принадлежит брату, а белый порошок в автомобильной аптечке – тальк. Это мой блокнот, заполняемый скорописью наметок, рисунков и мыслей, оказался схемой подрыва особо охраняемого объекта – местной телевизионной башни (сорокаметровой длины, если упадет). Наконец, это я опрометчиво показал двум слегка нетрезвым сержантам удостоверение с «Прессой», а также фирменный бланк журнала с просьбой к должностным лицам, оказывать всяческое содействие. Моя вина была даже в том, что не прекрати мы так нагло доказывать свою невиновность, лежать бы нам сейчас не на нарах в милиции, а, в лучшем случае, на койке в больнице.

Хотя, в сущности, весь мой грех состоял только в том, что мы ехали в именно в этот северный городок...

Виталик мог поплевывать в потолок, мог слушать только в пол-уха и в полсердца принимать мои оправдания.

– Понимаешь, это не сон, – доказывал я ему. – Меня просто сбросило в детство.

– В детство? А-атлично!

– Заткнись. Это совсем иная степень реалистичности. Вот смотри. Осень. Распутица. Плотные сумерки, даже ночь, звезды. Справа поле, слева поле. Дороги нет, есть колеи, они ползут по окраинам этих полей, их много, они заполнены черной стоячей водой и похожи на длинные черные пряди грязных волос. Отец за рулем. Рядом какая-то женщина, я ее

не знаю. Машина. Я прекрасно знаю эту машину. «Зил-157», номер на бортах кузова 12—08 ВОЛ. Старый номер, ты понял, какой был в восьмидесятых... Мои руки пахнут грибами, волнушками. Пахнут горько. Впереди и слева, на взгорке, горят огоньки, это деревня. От нее, по полю, наперерез, по серой стерне торопится кто-то, почти бежит. Это еще одна женщина, старая, бабушка. Отец останавливается и просит меня уступить ей место, перебраться в кузов. Прямо с подножки я лезу в кузов, попадаю ногой в корзину с грибами, ругаюсь, потом стучаю рукой по кабине, мол, я здесь, можно ехать. И тут чувствую, что на поясе стало легко. А на поясе висел нож, отцов, охотничий. Я выпросил его поносить, потому что отец не давал ружья. А теперь ножа на поясе нет. Я бросаюсь к борту, замечаю белое лезвие, прыгаю вниз, поскользываюсь в грязи и проваливаюсь обеими ногами в колею, проваливаюсь прямо по пояс, прямо в эту траншею от переднего колеса. Спешу выбраться, только ноги внизу как-то перепутались, сапоги держат, и меня утягивает под бензобак, всем телом утягивает под бензобак. Я шмякаюсь лицом в грязь, а она уже сверху мерзлая, с корочкой. Хочу выбраться, но грязь уже засосала, не выпускает, а края колеи смыкаются на груди, как края теста. Я кручусь, упираюсь головой в бензобак, рвусь в другую сторону — стучаюсь виском о подножку. А отец уже перегазовал, выжимает сцепление, и я слышу, как за спиной, в коробке скоростей, входит в шестерни первая передача. Вот машина уже пошла, сперва еще медленно. От страха во мне нет голоса, я знаю, что будет дальше, как эти два задние колеса, одно за другим втрамбуют, впечатают меня в грязь без остатка, и как сомкнутся за ними края колеи, а потом наверх выйдет жижа и на ней проступит вода... До весны меня никто не найдет, а, может, не найдут и весной. Весной дорога по полю может пройти совсем в другом месте. А колесо уже напирает, локоть соскребает с покрышки жидкую ленту грязи, левой ногой очень больно, колесо скребет по спине, срывает с фуфайки хлястик, правая нога гнется, что-то внятно хрустит, я кричу, но еще даже раньше, чем слышу свой крик, колесо замирает. Потом я лежу в кабине, сперва на сиденье, потом сползаю на полук, жаркий воздух дует в лицо из печки, на лице ссыхается маска грязи, вокруг все дрожит и грохочет, машина трясется как в лихорадке. Я слышу перегретый мотор и чувствую запах горящих дисков сцепления. Где-то высоко-высоко, под потолком кабины, в стеклянных глазах отца отражаются огоньки приборов...

Виталик долго молчал, а потом засопел:

— Расписал уж, можно подумать. Ну, чего, ну сильные впечатления детства. Вот я однажды тонул, тоже снилось, как...

— Виталик.

— Мм?

— Это же не мое детство! И не мой отец.

## 4

В понедельник с утра мы сидели в кабинете начальника местного отдела милиции. Не включенный, но грозный на вид диктофон стоял рядом с заварным чайником и оттуда дырочкой микрофона целился в рот майору.

Впрочем, Виталик долго не засиделся, он умчался снимать молодых поварих в столовую Леспромхоза. Скоро его я не ждал: в камере нас, конечно, кормили, но Виталика надо еще и питать.

Майор скреб ногтями щеку и задумчиво смотрел то в протокол задержания, то изучал наши с Виталиком заявления об избиении двумя пьяными милиционерами с последующем незаконным арестом. Юридически наш язык был не очень выверен, но за этот набросок весьма злой статьи я не мог себя упрекнуть.

Двое, теперь вполне трезвых, сержантов явились вскоре по вызову и получили по устному выговору от своего начальника. Они немного помялись и даже посидели на одном стуле. Потом, козырнув, ушли. Понимать это следовало так, что они принесли нам с Виталиком свои извинения.

– Но вы тоже меня поймите, Ярослав Германович, – повторял майор. – Молодые ребята, направлялись на помощь местному участковому обеспечить порядок на свадьбе, ну и... перестарались, скажем так.

– И скажем более, совсем в другом месте. Темной ночью да на большой дороге.

– Яро-слав!...

– Я всю понимаю.

– Ну, конечно, конечно. Вы сразу всё поняли! Вы же приехали и уехали...

– Ну, хорошо. Но в обмен на личное одолжение.

Майор заметно напрягся.

– В вашем районе когда-то жил Николай Семенович Иванёнков, год рождения тысяча девятьсот двадцать седьмой, русский, не судим, за границу не выезжал, номер паспорта... запишите, вот данные... записываете? Работал шофером леспромхоза на машине «Зил-157», государственный регистрационный номер 12—08 ВОЛ. Весной, во время сплава, был капитаном сплавного катера. Ну, это можно не записывать.

Майор записал фамилию-имя-отчество и номер паспорта.

– Иванёнков? Я что-то слышал про Иванёнковых. Вроде какие-то жили. Только не наши, не местные, но фамилия на слуху. Он вам родственник?

– Д-да. Дядя. Мать разыскивает. С войны. Я тут брал интервью у вашего министра. Анатолий Сергеевич очень помог. Да вы, наверно, листали журнал... Не листали?

Я полез в сумку, достал припасенный на этот случай номер, открыл разворот с интервью и подал журнал майору.

Про министра всё было правда. Именно по номеру «ЗиЛа», когда-то увиденному во сне, я узнал фамилию Иванёнков и где этот человек был отмечен жильством.

Ночь на вторник мы провели с Виталиком в районной гостинице, а утром нас разбудила женщина-милиционер и вручила официальную справку: Иванёнков Николай Семенович, год рождения такой-то умер такого-то числа, месяца, года, в результате несчастного случая на воде, (в скобках «утопления»), номер свидетельства о смерти такой-то, похоронен там-то, родственники – не имеются.

Наш белый заморский джип стоял на площадке под окнами. Он был даже вымыт и блистал свежей ржавчиной. Однако глушитель казался приваренным намертво.

На кладбище мы не сразу нашли две могилы, но я без труда узнал лицо человека, смотревшего на меня со старой выцветшей керамической фотографии. Это был он. «Отец». Зато

фотография на другом, стоящем почти впритык, и таком же сварном, железном, под красной звездой, но маленьком, «детском», памятнике не говорила ничего. «Леша Иванёнков», – прочитал я.

## 5

– Так, ты будешь работать или нет? Мы что, торчать здесь будет до конца века?

Виталик страшно ругался, и я его понимал.

Весь тот несчастный вторник, сразу после кладбища, мы носились по всей округе, как сумасшедшие, разыскивая свидетелей и нашли, наконец, моториста катера, Ивана Захарыча, списанного «отцом» в тот день из-за кашля. Вместе с ним рванули в деревню Устиниху, посидели там на высоком холме над рекой, помянули. Иван Захарыч рассказывал и водил над поймой рукой.

«Которы-то всплыли, дак уже не живые, – рассказывал Иван Захарыч, – а остальных там в рубке и нашли. Весь леспромхоз ревел. И от школы были венки. Не то он в седьмом был, не то в восьмом. С отцом повсюду вместе ходил, куда этот, туда и тот. Матка-то у них рано померла. А катер-от... Катер-от как на берег вытащили, так он и соржавел, никто на него не сел, так на металлолом и отправили. А хороший был катер, как сейчас помню. Водомёт. Мы с Семенычем вместе на курсы ездили, в Устюг, я на моториста сдавал, он по судовождению. Кажну Пасху, как пойду на погост поминать родителей, так я и Семеныча помяну... – Иван Захарыч зашмыгал носом. – Золотой человек-от был, душа-человек, и вот так... А вы сами-то кем ему будете? А, ну, понятно. Семеныч как-то говаривал, что в плену у немцев сидел, в Мюнхаузене, кажись. Сам-от он не от нас... Дак чего еще насчет пацана? Не нашли пацана. В гроб пустой земли горстку бросили да воды речной кружку вылили, да вот так и зарыли. Его, видать, в затор тогда затянуло. Не разобрали тогда затор. Вода упала, ничего не успели. Летом уж начали было разбирать, дак дожди пошли, чистое опять половодье, и тогда же начало мыть, вон под тем берегом... Видите осыпь-то? Русло разом в вбок увело. Так все бревна наши тогда и замыло. Там небось и лежит где-нибудь, да теперь не найдешь. Ну – вечная память рабу Божьему Николаю и отроку Алексею, царства небесного, светлого места обоим, помянем, оно!»

Когда мы вернулись в гостиницу, я лег на кровать и отвернулся к стене. А что, собственно, о себе знаю?

Так прошли и среда и четверг. Неделя подходила к концу.

В моем блокноте не прибавилось ни строчки к тому, что сам про себя я обозначил физиологическим очерком. Правда, на диктофоне кое-что накрутилось, но только благодаря тому, что плюнув с утра в направлении моей кровати, Виталик совал диктофон в карман и в течение дня, болтая то с тем, то с этим, незаметно нажимал кнопку. Он уже изучил этот городок вдоль и поперек, подружился со всеми, с кем было нужно, и скорешился с теми, с кем вовсе не полагалось, (поскольку последних везли отсыпаться в уже обнюханную нами кутузку).

– Ну ладно, – приходил он ругаться, – тему мы запороли, и хрен с ней! Тогда поедем домой, чего торчать здесь? А вот ведь... – и он разводил руками: «сударь, я могу и откланяться!»

Он, точно, мог бы откланяться, но тут в район прилетел областной драматический театр, и всё изменилось. Артистов посели в гостинице, так что Виталик мгновенно переацелил свой фотоглаз. Собственно, это было уже его чисто личное дело: сколько пленки тратить на мой ненаписанный очерк, а сколько бесценных кадров изводить на актрис. Все равно половина из них ушла на одну – травести из «Маленького принца», она же инженеру из «Истории любви»...

Тут бы полагалось взять некую длинную, драматически выверенную паузу, помолчать, сказать «да», а потом откашляться и добавить что-нибудь вроде «это была она» или «так возникла она». Но в жизни все было проще, ровнее и текло своим чередом. Никакой сцени-

ческой паузы не предполагалось. Да и в груди моей ничего абсолютно не всколыхнулось. Более того, я даже обидел Виталика, обозвав эту плоскогрудую «плоскодонкой с мотором». Это когда тот заманил ее к нам, на чашечку чая, а она тут же встала и ушла – искать заварку для чая.

Наша ссора с Виталиком еще не успела набрать оборотов, когда девушка вернулась назад. Она была в темной, закатанной до локтей рубашечке, в голубых джинсиках, в больших, в половину лица очках с минусом, которые, впрочем, не уменьшали ее огромных сиреневых глаз и даже не подводили к норме. Лобик ее прикрывала короткая челка цвета и жесткости тростникового венника, да и вся прическа была мальчишеской, под парик.

– Мальчики, мальчики, – сухим сценическим голосом потребовала она, – Будем пить чай.

Виталик остыл быстрее, чем чай. Вскоре я встал, сказав, что должен идти, потому что у меня назначена встреча.

«Врун», – ответила она взглядом.

Не знаю, что ей мог наплести про меня Виталик, но взгляд меня резанул. И не просто так резанул. Резанул как-то очень знакомо. Словно повторилась та ситуация, когда однажды в Москве, на выставке обнаженной натуры, я услышал в интонации Гели намек на слово «убийец». Но я не придавал значения, решив, что это обычное дежа вю. Слишком уж они были разные, да и жили в слишком разных мирах. Мне и в голову не могло прийти, что меж ними существует какая-то связь. Тем более, до того момента, когда брат Роман скажет, что она типичная маугли, еще было далеко.

Ее звали Ольга.

Если бы не Виталик, где-то в душе непоколебимо уверенный, что любой журналистский текст только портит его замечательный фоторяд, мы бы ничего не родили. Тему, конечно, я провалил, текст вышел рваный, скукоженный, в общем – дрянь, однако уж не настолько, чтобы Главный взрычал «халтура». Правда, фотографии все равно выходили лучше. Виталик больше не спешил уезжать, он был явно в ударе и всё норовил выдавить меня из номера, мечтая запереться там с Ольгой вдвоем. Последних два вечера я дежурно уходил в холл, к телевизору, не желая понижать свой статус до третьего лишнего.

На ночные новости к телевизору приходил режиссер. У него была известная фамилия, но между собой актеры называли его «хан Хотьубей».

– Значит, договорились, да? – встрепенулся Хотьубей в последнюю ночь. – Вы захватите кое-что из наших продуктов?

– Да, конечно. Да. Заберем.

– Да, а пьесу мою вы уже прочитали? Любопытно ведь, да?

– Да. Ну да. Но боюсь...

– Я боюсь, вы могли что-то не понять.

– Да, – соглашался я, потому что не понял там ничего.

Я знал много хороших редакторов, которые в жизни не написали ни строчки. И поэтому посчитал, что хан Хотьубей – замечательный классический режиссер, поскольку он не умел писать модернистских авангардистских пьес. Сам же Хотьубей полагал, что его пьеса:

а) весьма современна – действие происходит вне времени и пространства;

б) чрезвычайно захватывающая – он предлагал мне ее пролистать в тот момент, когда по телевизору шел «Терминатор – 2»; и

в) абсолютно сценична – если только возможно поставить в театре «Розу мира» Леонида Андреева.

Он предлагал прочитать свою пьесу всем, кто имел дело хоть какое-то отношение к литературе (правда, я имел к ней такое же отношение, как пишущая машинка – к клавишным музыкальным инструментам). Но я хотя бы убил полночи на то, чтобы честно

пытаться проникнуть в драматургический замысел Хотьубея. И всё же в упор не видел, как можно сыграть на сцене «торжественно проявляющийся на заднем плане, радужно-переливчатый сварг» некой венценосной Хартимы. Имя Хартимы, надо было понимать, происходило от слова «хартия», тогда как Лексос олицетворял собой закон, а Рексос – власть. Что такое «сварг», я не понял совсем. Что-то вроде души, духа или человекодуха. Но разбираться далее не было никакой мочи.

Сидеть каждый вечер с Хотьубеем перед телевизором тоже было мучительно. К нему постоянно подходили артисты, но, что хуже всего, то и дело, шурша пеньюарами, подлетала прима театра.

– Да не волнуйтесь вы, Мария Марковна, – успокаивал приму Хотьубей. – Они же сказали... а вот, кстати, их шофер, познакомьтесь, его зовут Слава...

– Здрасьте, – привставал я.

– Здравствуйте, мой дружок!

– ... что возьмут и ваши грибки, и ваше варенье, – заключал режиссер.

– Ах, но ведь с вашим жалованьем!.. – продолжала свои стенания прима.

– Я не антрепренер, чудеснейшая Мария Марковна. Платит вам государство. Но что от меня зависит, вы знаете, я всегда. Вот же, говорю, познакомьтесь... – и он сотый раз представлял меня как водителя, согласившего везти их грибки и варенье, и картошечку.

Утром они забили машину под самую крышу. Ничего не попишешь, бартер: они – культуру в массы, а массы платят натуральным продуктом.

Экспедировать груз до области Хотьубей отрядил Ольгу, как наилегчайшую из всей труппы – с убедительной точки зрения Виталика.

## 6

Мы не стали ждать, куда остальные артисты залезут в автобус и поедут на местный аэродром. Попрощались с вышедшим провожать представителем районной администрации, получили от него подтверждение, что район непременно и обязательно закупит часть тиража нашего журнала, залили в наш белый заморский джип бензина по самую горловину – и-и...

Удивительно, но это самое «и-и...» пролетело, как мне показалось, на едином дыхании, на одной ноте. И хотя на выезде из района опять заорал глушитель, но хохот и слезы внутри салона могли бы с ним посоперничать. Ольга продолжала рассказывать о своей театральной жизни, и в конце концов нам с Виталиком даже стало жалко несчастного Хотбубея – ему в самолете, должно быть, сильно икалось.

Почему-то я думал, что мы окажемся в областном центре даже раньше летевших на самолете (останавливались ты только раз – подкормить Виталика), но в дверях Ольгиной квартиры нас уже караулил телефонный звонок, и знакомый сонорный голос Марии Марковны раскатился из трубки на всю прихожую:

– Оленька, солнышко! Как за тебя беспокоилась! Я вся испереживалась, вдруг с тобой что случилось! Сейчас к тебе подъедет мой муж и заберет всё моё...

Квартира у Ольги была небольшая, двухкомнатная, скупно и в то же время вполне артистично, богемно убранная. В ванной, я сразу заметил, отдельная полочка отводилась под бритвы, одеколоны и мужские дезодоранты.

Объявившийся в меньшей комнате то ли муж, то ли друг, то ли что-то среднее между ними, помог мне найти в машине «всё моё» Марьи Марковны, перегрузить в «жигули» мужа примы, но возвращаться в квартиру не стал. Я решил, что он пошел за вином, и поэтому не подстраховался. Из-за этого получилось так, что в поход за вином пришлось идти мне, а когда я вернулся, Виталик настолько уже освоился, что, приняв душ, натащил на себя чужой махровый халат и сидел на кухне, развалившись до неприличия, выставив в проход свои жирные волосатые ноги, загораживая вход мне. К счастью, муж-друг так и не вернулся, а не то уж вдвоем-то, точно, мы могли этого не стерпеть.

После ужина Виталик блаженно храпел на диване, а я вертелся рядом на раскладушке. Из-под дверей пробивался размытый свет: было видно, что в большей комнате Ольга еще не спит. Когда, наконец, он погас, я пошел на кухню и припал к холодному крану.

Розовая ночная рубашка возникла, наверно, как ожидалось. Только не ожидалось, что вместо «мне тоже не спится» рубашка скажет «у меня здесь был пузырек с...» и выпьет пару каких-то разномастных таблеток.

Розовый шелк приятно всхолодил руки.

– Это, наверно, подло? – сказала она, упираясь в мое лицо своими большими сиреневыми глазами. – Не подло?

– Насчет?

Она не ответила, предоставляя мне самому догадаться, что под этим могло скрываться.

– А вы сами часто совершаете в жизни подлости? – она сузила глаза, хотя я знавал актрис, у которых это получалось лучше.

– Я уже сделал главную подлость в жизни.

Она отстранилась, притворный испуг распахнул глаза.

– Брат привез газовый пистолет, – шепотом проговорил я, – не терпелось его испытать. За стакан согласился сосед. Мы сказали, отойди на три метра. Выстрел, мужичок падает, мы его кладем на диван, продолжаем гулять, а он вдруг встает и просит еще. Мы ему наливаем, а он трясет головой и рукой делает вот так... – Я согнул палец, будто нажимая курок.

Сдавленно хохоча, она уткнулась в мое плечо, и мне оставалось только подкинуть ее на плечо и отнести в кровать, как ребенка.

Было уже светло, когда я проснулся от царапанья по груди. Она лежала на боку рядом и старательно подцепляла ногтями мой сплюснутый, еще спящий сосок, будто хотела его скovyрнуть, как болячку. Сонно я подхватил ее к себе ближе.

– А тот режиссер... – проговорила она. – О котором ты говорил. Ну... твой приятель, с «Мосфильма». Он, действительно, такой, ну...

– Ну. Такой.

Она помолчала и прошлась пальцами по моей груди.

– Какой же ты странный, Слава. Лицо смуглое и такое южное, а тело такое белое, северное. Словно молоко. Даже родинок нет. Словно не твое.

Я открыл глаза.

– Чье?

– Что «чье»?

И вот тут меня ударило, словно током.

– Извини, – я вздрогнул и отстранил ее, может быть, слишком резко. – Надо позвонить!

Вскочив, я разворошил блокнот и нашел адрес Ивана Захарыча, моториста «отца».

– Какая у вас телефонная справочная? – спросил я Ольги, вышедшую за мной в прихожую.

Ольга назвала номер.

– Алло? Это справочная? Как позвонить человеку по телефону, если у него нет телефона? Алло? Вы меня слышите? Как вызвать пригласить человека к телефону по адресу, то есть, по телеграмме? У вас есть такая услуга? Нет, вы сами дадите ему телеграмму и пригласите! Да. Хорошо. Алло? Да, я заказываю телефонные переговоры, адрес... Нет, срочно-срочно. Архисрочно! Тариф? Хоть тройной! Да, заказываю! Адрес? Диктую! Мой телефон... Какой у тебя телефон? Записывайте! Да! Через сколько? Чем быстрее, тем лучше. На час дня? Хорошо, спасибо, на час. Буду ждать!

– Почему ты звонишь в район? – спросила она.

– Извини, мне надо одеться.

На шум проснулся Виталик, увидел меня в трусах, рядом не одетую Ольгу, сказал «гад» и захлопнул дверь.

До часа дня я не мог найти себе места. Хотелось спрятаться и от ее расширенных глаз, и сощуренных глаз Виталика. Наконец, я убежал в город и мотался по ближним улицам, пока ровно в полпервого не завис над телефоном как беркут. Аппарат то и дело тренькал, потому что артисты продолжали опорожнять наш белый заморский джип, и каждый такой звонок рвал мою главную сердечную жилу.

Междугородный зазвонил в два.

– Да! Алло? Иван Захарыч? Это вы? Простите ради святого... не волнуйтесь, но это снова я, тот журналист из Москвы, Мартынов моя фамилия, Ярослав, с которым вы... я, короче, вы помните, я справлялся об Иванёнковых? Я хочу спросить, вы не помните, были-ли-ли... на его теле, у мальчика, у Алеши, я имею в виду, какие-либо приметы, родинки какие-нибудь, что-нибудь такое, что могла бросаться в глаза? Вы не помните? А, может, кто-нибудь помнит? Ну, что-нибудь на теле приметное, какие-нибудь отметинки? Ну, с кем он учился в школе, может, в баню ходил... Вы не знаете? Ну, хорошо. Я и так злоупотребляю. Извините, говорю, что злоупотребляю вашим временем. Да, хорошо. Спасибо! Спасибо, говорю, извините. Что-что? Помните, что он ногу сломал? Хорошо. Отлично! А где? Где он ее сломал? Нет-нет, о бревнах не надо. Хорошо, я понял, играл, но в каком месте перелом, в каком месте на ноге перелом? У колена? Ниже, выше колена? Выше? То есть бедро? Я понял! Спасибо, Иван Зах-х-х!.. – связь прервалась.

Секунду я держал в трубку, потом положил ее на рычаг и внимательно посмотрел сначала на Ольгу, потом на Виталика. Интерес в их глазах постепенно сменялся на соболезнование. Я снова перевел взгляд на Ольгу и попросил:

– Бинт.

Она не прореагировала, осталась стоять, когда я ушел на кухню один. Там взял разделочную доску, через колено разломил ее вдоль, потом спустил штаны, сел на табурет и снова попросил:

– Бинт.

– Ты можешь хоть что-нибудь объяснить! – заорал вдруг Виталик, прикрывая Ольгу собой.

– Да дайте же, люди, наконец, бинт!

Ольга сразу раскрепостилась и начала раскрывать все дверцы всех кухонных шкафчиков и вытаскивать сразу все ящики. Виталик же требовал объяснений. Я попробовал объяснить:

– Помнишь, я рассказывал тебе про машину, про тот случай с трехоской, с «зиллом»? Осень, распутица, грязь, глубокие колеи, бензобак, колесо?..

– И что?

– А то! Я же помню, что левая нога была сломана! Понял, сло-ма-на! Да, помоги ты, черт, поддержи доски.

Ольга отыскала, наконец, бинт. Я приложили две дощечки к ноге чуть выше колена, и Виталик туго примотал их бинтом.

Но штаны обратно не лезли.

– Тьфу ты! Надо было поверх штанов, – наконец, сообразил я.

То, как стоял я посреди кухни, поддерживая штаны, неожиданно развеселило Виталика, и он страшно загоготал. И, наверно, испугал этим Ольгу, потому что она тоже засмеялась. Мне не понравилось, как она засмеялась. Как-то нервно. Как на сцене, когда играют испуг. Я попросил ее вызвать «скорую». Это еще сильнее усилило ее смех, и не сразу ей удалось с собой справиться.

– Зачем? – коротко спросила она.

– Так надо. Потом. Позвони.

– И что мне сказать?

– Скажи... – сказал я.

– Скажи, муж-ирод сверзился со стремянки! – продолжал гоготать Виталик.

– Горохов! – ругнулся я. – Думай, чего болтаешь. Ф-фотинья!

Виталик медленно закрыл рот и придал лицу налет рассудительности.

– Разоблачат, – сказал он, а потом обернулся к Ольге: – Больница тут близко есть?

– Есть, есть. МПС, – сказала Ольга.

– Далеко?

– Да нет, нет. Рядом. Вы уж, знаете, его отвезите. Я не знаю, что вы придумали, но лучше его отвезти. Это рядом, три остановки на троллейбусе. Вы его размотайте, а перед больницей снова смотайте. Возьмите и отвезите.

– Я не езжу, – буркнул Виталик.

– У вас нет прав?

– Я не езжу на чужих машинах. Себе дороже. Одну разбил, год расплачивался, с меня хватит.

– Вы разбили чужую машину? Я вам сочувствую. Я тоже разбила... А вы какую?

– «Жигули».

– Ой, и я «жигули»! А вы лежали в больнице?

– А то не лежал!

– А я так долго-долго лежала, что думала, умру от лежания. Вы знаете, меня по запчастям собирали...

Они бы так еще ворковали – на фоне моих спущенных штанов, но я не мог ждать. Вытащил ногу из левой штанины полностью, продернул ее меж ног, выловил сзади и перекинул через плечо. Зажал штанину под подбородком и сунул ногу в ботинок.

– Я поеду сам. Горохов, пошли!

– Так нельзя, – испугалась Ольга, – Вас увидят! Плед! Нет, халат! Возьмите халат, а не то попадете в аварию!

Женская логика была убедительна, и мы взяли халат.

Лифт, слава богу, пришел пустым.

Держа халат на манер плаща матадора – в зависимости от того, где во дворе находилось больше людей и откуда больше пучилось глаз и раззевалось ртов – Виталик сопровождал меня до машины.

В последний момент в салон влетела и Ольга.

Мы ехали медленно, но приехали быстро. Не могу передать ощущения, когда, чтобы выжать сцепление, человеку приходилось вставать и сверкать коленною чашечкой на всю улицу.

– Сюда! – закричала Ольга, прозевав поворот, и мы подрезали нос автобусу, к тому же я запутался в скоростях, и мотор сдох.

Казалось еще не замолкло истошное «би-ип», как выскочивший водитель рванул нашу дверцу: «Я ж тебе, идиот, щас все ноги переломаяю!» Но тут же дернулся в кадыке: «Ёк! Уже?» – И Виталик вежливо попросил вернуть дверцу на место.

У подъезда больницы с украшающим фронтоном паровозом стояла «скорая помощь». Прикрывшись ее объемом, я выбрался из-за руля, потом, кривясь, стеноя и охая, отдался в руки Виталика.

Приемный покой был занят, там принимали пострадавшего. Больной лежал на каталке, с него снимали одежду, кололи и ставили капельницу одновременно.

– Закройте дверь! Закройте дверь! Что-что? Подождите! – оторвался мужчина в синем халате и таких же синих штанах. – Что? – он взглянул на бинт на моей ноге и торчащую из-под него кухонную разделочную доску. – Давайте пока на рентген! – И он отмахнулся от нас рукой, куда-то вглубь коридора.

Женщина-рентгенолог спросила фамилию, номер медицинской страховки, и помогла Виталику взгромоздить меня на высокий стол.

Взгляд ее проскользил по бинту, и она осторожно поправила ногу.

– Не больно?

– Да нет! – И я прикусил язык.

– Вижу-вижу.

– А когда будет снимок?

– Через двадцать минут, – сказала она.

– Ну? И чего? И что? – зверствовал в коридоре Виталик. – А если сейчас позовут к врачу? Славка! С такою рожей ног не ломают. Да сядь ты! Сиди, не прыгай.

– Слава, играйте уже роль до конца, – увещевала Ольга, видя мое нетерпение.

– Понимаете, – объяснял я им, – если там когда-то был перелом, то должен остаться след, утолщение, ободок, костная мозоль, я не знаю что.

– Нельзя ли потише? – открыла дверь рентгенолог, выпуская старушку с рукою на перевязи.

– Проявили? – застонал я.

– Я же сказала, через двадцать минут.

Господи, еще через двадцать! Внутренне меня трясло от волнения и, наверно, впервые жизни я чувствовал, как перехожу порог сумасшествия. Казалось, по нервам пропущен ток, из-за это кровь шипит, а полушария мозга быстро-быстро меняются друг с другом местами. Я с силой зажмурился, а когда вновь открыл глаза, то увидел, что Ольга смотрит на меня как-то странно. Внимательно.

Через полчаса рентгенолог действительно вышла со снимками, моим и старушкиным. Каждый она держала перед собой на прищепке.

– Как же умно вы хулиганите, молодой человек! – потрясла она моим снимком.

– А там есть перелом? Там есть костная мозоль? Там должна быть костная мозоль! Дайте!

Забыв про штаны, я вскочил, наступил на штанину и в полупадении-полупрыжке сдернул снимок с прищепки. Тот был еще липкий и скользкий. Я привалился к стене и поднял его к плафону под потолком. Бело-прозрачная кость, белесый обрез доски, ровная кость, совершенно ровная гладкая кость...

– Нет, лучше вы сами! – волнуясь до пота, совал я снимок врачихе. – Я же не разбираюсь, но там должен быть перелом! Не может быть, чтобы не было перелома! Я же чувствовал! Я же слышал, как там хрустело! Я своими ушами!.. Посмотрите, там должна быть мозоль. Костная мозоль. Там не может ничего не остаться! Там должна быть мозоль! Посмотрите, пожалуйста, там не может не быть мозоли!..

– Мозоль от вас на ушах, молодой человек, – сказала рентгенолог, отбирая снимок. Но все-таки еще раз взглянула, а потом повернулась к старушке с рукою на перевязи.

– Пойдем, Славка, одевайся, – нагнулся ко мне Виталик. – Давай помогу. Надо снять...

Неуклюже он попытался размотать бинт, отвязать доску, но я его оттолкнул. Сдернул штаны совсем, кинул через плечо, поднялся и подхватил ботинки. И тут же, сбивая старушку, рванулся к врачихе назад:

– А вы не снимете мне вторую ногу? Я прошу!

Рентгенолог шарахнулась от меня как совсем уже от чумного.

Виталик применил удушающий прием и потащил меня к выходу.

В машине, уже отдышавшись, мы ждали Ольгу. Она пришла красная, как рак, и бросила мне на колени злосчастный снимок.

– Может, теперь хоть что-нибудь объяснишь? – несколько агрессивно сказала она.

– Потом.

– Нет. Здесь и сейчас.

Водитель «скорой» махнул мне рукой, прося немного отъехать и дать дорогу.

– Сейчас, вот только отъедем.

– Нет! Здесь! И сейчас!

– Сейчас. Вот отъеду, пропущу человека и все расскажу!

Но дальше случилось невероятное. Она выхватила из замка зажигания ключ и зашвырнула его куда-то в кусты акаций.

– Черт! – я ударил рукой по баранке. – Черт-черт-черт! Ну, хорошо. Я другой человек. Я другой, другой, другой человек! Вас устроит?

Видно, устроило. Дело шло к вечеру, когда она рассудила, что нам лучше не выезжать в ночь, и разрешила опять остаться у нее до утра. Мы наперегонки согласились. Ее так и неразгаданный нами не то муж-не то друг появился в дверях как призрак и вновь безмолвно исчез. Мы с Виталиком засиделись на кухне, впрочем, не напиваясь сильно, а востря уши, не загремит ли Ольга в маленькой комнате раскладушкой. Но пока было тихо. Тишину мы встречали с разными чувствами.

– Сволочь ты, Славка, – наливался гневом и пивом Виталик. – Посмотрел бы на себя в зеркало, не гадал бы сейчас, ты кто. В той же машине, наверно, было зеркало заднего вида. Посмотрел бы тогда и все.

– Знать бы!

– У меня утром репетиция, – заглянув за стаканом воды, обрезала разговоры Ольга, а потом загремела-таки раскладушкой.

Добравшись до постели, я уснул на лету и увидел сон. Это была моя бедренная кость. Она плыла по звездному небу, и на ней, похожая на кольцо Сатурна, крутилось кольцо моей несчастной костной мозоли. Словно такая циркулярная пила. Похожая на кольцо Сатурна, только зубья внутри. Они жужжат и грызут, жужжат и грызут мою кость.

Утром страшно ломило голову, но еще страшней болела нога. Выше колена она заметно распухла, побагровела и вообще как-то покривела – нельзя было прикоснуться.

– В больницу! – сказала Ольга.

– Только не в МПС!

– Здесь много больниц, – сказала она, и вызвала «скорую».

С переломом бедра, с самым настоящим, неподдельным переломом бедра, я повис на растяжке.

## 7

Уже наступала осень, но меня еще не выписывали: на ноге появился свищ и его лечили. В стране и мире наслучалось много чего, но ничего не случалось со мной. Отчего на душе оставалось странно и хорошо. В этом тихом областном городе, кроме Ольги, у меня не было никого. Иногда она все-таки приходила, вернее, бегло заглядывала, выкроив время между репетицией и спектаклем. Наскоро посидев, скороговоркой рассказывала не интересующие меня новости и передавала приветы. Один был непременно от Хотьубея.

Оказалось, что в суматохе отъезда я не вернул Хотьубееву пьесу. И вот сейчас опять попробовал прочитать. И опять не сумел. Эти чертовы «сварги» с их именами-символами то хаотично роились, воюя друг с другом, то читали бесконечные монологи. Смысл пьесы потрясал глубиной: власть и закон не равны, но тождественны. Ужас. И пьеса легла под подушку к уже прочитанным книгам. Чем больше их там становилось, тем удобней было писать. Потому что у меня появился дневник. Тетрадь. В ней я расписал всё по пунктам. Строго и четко изложил всё, что случилось со мной недавно, да и всю свою предшествующую жизнь.

Приезд Романа, старшего брата, был очень кстати. С Ромкой я дружил много больше, чем со своим братом-близнецом, которого звали Ярополк или просто Ярик. Тот был тоже старше меня, пусть всего на какие-то шесть часов, но именно из-за этого относился ко мне даже больше по старшинству, чем по-настоящему старший брат. Ромка хотя бы не унижал меня обращением «мой двойняшка» и не смеялся, когда я отругивался в слезах и вне законов артикуляции: «Нет, это ты мой разнойцевый близнец!»

Увы, наша разнойцевость почему-то работала только против меня. Когда я болел желтухой, Ярик с гордостью ломал себе руку. Когда же я ломал руку, Ярик записывался в секцию карате. И даже мои любимые девушки почему-то невинно интересовались, а когда день рождения у Ярика. Что было всего досадней. Потому что дни рождения у нас разные: у него 28-го, а у меня – 29-го февраля. Так что три своих дня рождения из четырех, я отмечал фактически в день рождения Ярика.

Я дружил через брата – с Ромкой. Так дружат государства – через соседа. Мать говорила, что после рождения первенца отец «заказал» ей девочку. Но обрадовался и двойне. «Ого, нашего полку еще прибыло! – хохотал он. – Каких два однополчанина! Так их и назовем: Ярополк и Святополк». Мать, посоветовавшись с подругами, восстала лишь против «Святополка». Это имя, как ей сказали, в истории было скомпрометировано. Поэтому меня назвали Ярославом. «Ярополк и Ярослав» – родителям показалось, что это тоже звучит.

Родителей я, конечно, помнил. Мать унаследовала от бабушки сильную цыганскую кровь и замечательно пела классические романсы. «Чарушка ты моя!» – отец ее обожал. И было за что. Мать отучилась два курса в консерватории, когда встретила пограничника, новоиспеченного лейтенанта, и тот в шутку предложил ей поехать с ним на заставу. В шутку мать согласилась, в шутку они прожили в Забайкалье целых пять лет.

Заканчивал ли потом отец разведшколу – этого я не знаю. После заставы он якобы учился на журналиста, а потом работал в институте Азии и Африки. Китайский он знал и раньше, а тут переключился на бурский, африкаанс, и вскоре ушел в международную журналистику, встал ездить в командировки. «Ангола», «Унита», «Мобуту», «режим Претории...» – раскрывая газету, я первым делом исследовал заголовки на предмет этих слов и очень гордился, если в конце статьи или комментария находил знакомое – «Герман Мартинов».

Правда, чем больше отец становился «Герман», тем меньше он оставался «папа». Внешне это почти не проявлялось. Когда он бывал в Москве, он по-прежнему возил нас

в бассейн, а каждое воскресенье играл в Царицынском парке в футбол – чуть ли не с друзьями своего детства. Мы с Ромкой и Яриком сидели на боковой скамеечке и орали до судорог, когда отец забивал голы. Наш «Герман» всегда забивал голы!

Вскоре он собрал всех нас на семейный совет и сказал, что уезжает в Анголу на целый год и берет с собой маму, а мы должны будем жить в интернате. В специнтернате – заведении для детей, чьи родители выполняют ответственные задания за границей. Потом интернат стал для нас и детдомом тоже. Не сразу, но в конечном итоге.

Родители перестали писать, а потом и не приехали в отпуск, когда Роману было тринадцать, а нам с Яриком – по одиннадцати. То были трудные дни. Вокруг нас вился жестокий детский слухок, что предки этих слиняли на Запад. Мы же пребывали в недоумении, как может наш «система» позволить кому-то кануть бесследно.

Когда нам с Яриком исполнилось восемнадцать, всех нас, всех троих братьев, пригласили в один большой кабинет и показали орден отца и медаль матери. К тому времени мы уже умели не спрашивать. Каждый из нас получил от государства сберкнижку и немного жилплощади. Свою комнату в коммуналке-малосемейке я называл исключительно «явкой», старался бывать там как можно реже и никогда никого туда не водил. Даже братьев. У них была своя собственная жизнь и собственные проблемы. Моя же проблема всегда состояла в том, что я с детства мечтал поехать искать родителей, и в детстве же во мне исподволь развивалась довольно редкая фобия – страх перед границей. Однажды наш класс повезли в Болгарию. В Шереметьево у меня внезапно отнялись ноги, и я не смог пересечь государственную границу. Меня могли бы только связать, заткнуть кляпом рот и протащить через нее как мешок. Был небольшой скандал, после которого, как я понял впоследствии, «система» утратила ко мне всякий интерес. И, видимо, к моим братьям тоже.

Правда, в отличие от меня, братья не имели никаких комплексов. Особенно этим отличался мой старший, истинно старший брат – Роман. Он играл в футбол. Начал еще с отцом на стадионе в Филях, но это было только начало карьеры. Середина – серебряная медаль чемпионата страны и финал кубка. А свой последний, финальный матч он сыграл легионером в Испании. Там он попал в автокатастрофу, лечился в Швейцарии, потом вернулся в Россию и начал работать тренером. Переломы он знал не хуже любого хирурга.

– Ну, и как тебя угораздило? – поинтересовался Роман, приехав ко мне в больницу и сразу внеся в травматологическое отделение какой-то особый, только его сопровождающий шум. Похожий на гул стадиона.

– Шел-споткнулся, упал-очнулся, – я захотел быть оригинальным.

– Не будь эпигоном, – он впился рентгеновским взглядом в гипсовый оковалок моей ноги.

– Надумал, – честно признался я.

– То есть?

– Как надумывают болезнь. Думал про перелом. Думал, думал и вот надумал.

– Надумать, наверное, что-то можно. Нельзя надумать только беременность и перелом бедра.

– Про беременность я не думал.

– Слава богу. Ладно, я уже имел разговор с вашим заводом. Так что пока тебе надо полежать. Лежи, думай дальше. Потом я приеду и тебя заберу...

– Да я вот лежу и думаю. Слушай, а в детстве я часто терял сознание?

– Бывало.

– Лежал в больнице?..

– Бывало.

– А ты помнишь... когда я лежал там голым... какое у меня тогда было тело?

– Было нормальное, чего нельзя сейчас сказать о твоей голове.

– Ты не смейся, брат. А не было у меня на теле каких-нибудь родинок или шрамов? Мы ведь вместе купались, в бассейн ходили и загорали на море... Помнишь, родители возили нас в Сочи?

А вот это я зря. На теме отца и матери лежало табу. Ромка стал собираться:

– Ты лучше пока поспи. Я еще зайду попрощаться.

– Постой, постой, а что Ярик?

– Ярик? – Ромка вновь опустил на стул. – А что наш Ярик? Воюет.

Ярик окончил Рязанское воздушно-десантное. Навылет прошел через Афганистан, навывлет прошла сквозь него и пуля. Работал в службе охраны правительства и чуть ли не самого президента, потом ветеранствовал в каких-то организациях, затем повел себя странно: улетел драться в Боснию, оттуда на Кубань, где объявил себя потомственным казаком, ушел с головою в бизнес и неожиданно стал богат. Неприлично богат.

– Воюет, – повторил Ромка. – Уже стреляли. И машину раз подрывали.

Мы помолчали.

– Ну, я пошел, – сказал Ромка и встал. – К этой-то заезжать?

– К кому это к этой-то?

– Ну хорошо. Тогда не заеду.

– Заедь.

– Ладно. Хотя я не одобряю. Тоша-тошой, глаза, как у лемура... чего-то там, чего-то там... лемура, – невпопад процитировал он один из наших забытых, интернатовских, совершенно глупых стишков. – И потом, знаешь, связываться с актрисой...

– Совсем не как у лемура! – Я обиделся не шутку. – Сам-то знаешь, что такое лемур?

– Да уж тоже книжки читаем. Обезьянка такая, с большими глазами. Ночная, кстати. Древние их считали духами мертвых. Советую прислушаться к древним, они знали, что говорили.

– Ну ты лепишь!

– И тебе могу залепить.

Он уехал, и я снова остался один. И вновь у меня в этом городе не было никого, кроме Ольги.

«У тебя красивые глаза», – иногда говорил я ей. Оглянувшись на моего соседа, она вытягивала руку и делала пассы поверх одеяла. «Вот тебе, если будешь так говорить!» О, если бы так поднималась моя нога! Все это представлялось вполне естественным и ненормальным. Ненормально оставалось лишь то, что это был любимый жест Гели...

## 8

Наконец, мне выдали костыли и приказали ходить. Я позвонил Роману и ждал, когда он придет, как вдруг без предупреждения нагрянул Виталик. Проездом. Сказал, что едет в командировку, но теперь, естественно, с другим «пишущим». Тот, мол, новенький, не захотел подниматься в палату, сидит ждет внизу, в вестибюле.

Виталик высыпал кучу новостей. Похоже, журнал пережил свои худшие времена. Главному удалось урычать правительство в том, что именно мы, по преемству, и есть журнал «Америка», но России.

– Переучреждаемся, набираем людей. Окомпьютерились. Со следующего года начнем выходить, как все нормальные люди. Раз в месяц.

Виталик просидел долго, говорил много, говорил славно и убаюкивал: дело было после обеда.

– Тебе все передают привет. Главный ждет, хотя и ругается. Ему дали «волгу». С трудом, но влезает. Только сиденье переднего пассажира утолкали вперед. Не спи, гад, – возмущался он. – К тебе человек приехал, совести ни на грош. Выписывайся давай! Как раз успеешь на свадьбу...

– На чью?

– На мою, разумеется. Ну не спи.

– Я не сплю. Бог любит троицу.

– Устаревшая информация. Без четырех углов изба не стоит.

– Что? – я приоткрыл глаз. – Это когда ты был женат в третий?

– Там еще, – почесался Виталик. – Занес бес на Пелопоннес. По глупости, в общем-то. По большой греко-православной любви и мечте по тихому семейному очагу под оливами. А она сказала «а риведерчи» и уехала с одним итальяшкой. Знаешь, даже ведь стыдно. Я-то думал, крутой мужик, мафиозо-каморро из «Козы ностры». А тот оказался каким-то учителем из детской колонии под Миланом. Ихний Макаренко. Видел я этого Макаренко! Каналио Бестолоччи.

– Как?

– Педагог одним словом. Неделью назад моя греко-православная прислала их церковный развод. У них, ты запомни, церковь не отделена от государства. Как в Израиле, знаешь, я узнавал. Но сейчас это не пройдет. Я больше не хочу узаконивать отношения через Бога. Лучше наш старый добрый советский ЗАГС.

– Я ее знаю?

– Боюсь, что... – Виталик томно потупил глазки. Он весь истекал какой-то сладкой притворностью. Казалось, сейчас засунет ладони между колен и начнет качаться из стороны в сторону. – Но ты же на ней не женился. Короче, это Анджела...

– Ш-то?!

Я, очевидно, неплохо взлетел, потому что мысленно попрощался с моей новой костной мозолью, а Виталик уже вскочил и ржал надо мной во весь голос.

– Анд-д-д-д-жела! Анд-д-д-д-жела! – в зубной чечетке он скалил зубы, радостно гоготал и снова щелкал зубами, и чуть не прыгал от удовольствия. – Д-д-д-д!

На соседней кровати вспыхнула паника, задергались струны, запрыгали гири. Впрочем, когда вошла медсестра, Виталик уже был сама смиренность – как бдящий архиепископ у одра папы римского, руки на животе. Какое-то время ушло на судебное следствие, прения сторон, последнее слово, потом нам дали условный срок – не больше пяти минут.

– Анджела Гуцко. Да ты ее знаешь, из «Новостей». В нашем журнале теперь работает. – Он опустил глаза и показал сквозь пол.

– Тьфу! Так это она там внизу сидит? А чего не ведешь сюда?

Он патетически вскинул голову и одними губами сказал: «Хрен тебе!»

«Больно нужно», – подумал я, однако, вслух произнес одни слова одобрения:

– Отлично, Виталя. Я всегда считал, что самый счастливый брак – это брак Синей бороды с Синим чулком.

Он парировал:

– Кстати, твоя Анжела передает тебе привет и прости. Уезжает к своей сестре в Австрию.

– Ангелина.

Я часто вспоминал Гелю. Правда, не саму по себе, а все более связи с Ольгой. Между ними появлялась какая-то непонятная общность. Словно я намагничивал их, словно наводил общее магнитное поле, из-за этого в речи Ольги и в ее поведении иногда проскальзывали совсем мистические моменты. Все казалось жутко знакомым...

– Нет, – словно оспаривая мое ощущение, заговорил вдруг Виталик. – Двух похожих жен не бывает. Забота заботе рознь. Олька-то приносит тебе? – И вспомнив о пакете с гостинцами, он поставил его себе на колени. – Хватает еды-то?

– Есть.

– А насчет этого? – он приложил большой палец к горлу.

– Вон стоит, – я кивнул на столик, на котором стоял стакан с яичною скорлупой, пропущенной через кофемолку. – Будешь?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.